И 262/71

Михаилъ Сивачевъ.

Библіотека Московскаго Комитета
Отд.
ПОГАШЕНО
снабженія раненыхъ произведеніями печати.

На судъ читателя —

Записки литературнаго Макара.

Выпускъ I.

МОСКВА,
Типо-Литографія И. Ф. Орлова, Мясницкая, Кривоколѣнный пер., д. № 14.
1910.

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА
43527-44
91
38

Вступленіе.

Заратустра говорилъ:

„Я учу васъ сверхчеловѣку. Человѣкъ есть нѣчто, что необходимо преодолѣть. Чтоже вы сдѣлали, чтобы *преодолѣть его?* Всѣ существа до сей поры создавали что-нибудь выше себя, а вы желаете быть волною отлива въ этомъ великомъ потокѣ и предпочитаете скорѣй вернуться обратно къ состоянію звѣря, нежели преодолѣть въ себѣ человѣка“?

Я не знаю иныхъ словъ, которые бы полнѣе выражали трагедію духа нашего времени, чѣмъ эти.

И когда думаешь о нихъ въ тишинѣ своихъ стѣнъ—жуткая и странная тишина: извнѣ не проникаетъ ни малѣйшаго звука,—точно камень неустанно источаетъ изъ себя смѣхъ,—тихій невнятный, саркастическій, мучающій ожиданіемъ: вотъ-вотъ этотъ смѣхъ внезапно грянетъ, какъ громъ, задавитъ весь шумъ большого города и будетъ неумолчно грохотать:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Неумолчно и неумолимо, какъ возмездіе.

Очнешься: не галюцинація ли слуха?

Прислушаешься: ни звука. Но толчекъ уже данъ: мысль прядетъ свою нить, чувство свою тончайшую паутину.

II.

Еще задолго до того, когда это случилось, „Кабинетные радѣтели“ не изъ бюрократіи, а изъ интеллигенціи, мечтая о пересозданіи основъ государства, пищали въ своихъ комфортабельныхъ уголкахъ:

— Мы переживаемъ состояніе прострапіи!..

Разгильдяйство, обломовщина, крайнее ко всему, кромѣ своего я, безразличіе, хронически-исконняя лѣнь—всѣ эти застарѣ-

лыя язвы всего „передового“ русскаго общества одними забывались, а другими... умышленно замалчивались.

Весь укладъ жизни кабинетныхъ радѣтелей складывался на принципахъ „своего уголка“, на наклонностяхъ къ ненарушимому покою—въ смыслѣ общественномъ всѣ непробудно спали и находили оправданіе, что спать ихъ заставляетъ:

— Прострація.

Она спящихъ будто бы давила и требовала, чтобы виновникъ спячки былъ найденъ и наказанъ.

Виновника, конечно, отыскивали безъ труда.

— Правительство. Оно одно виновато въ нашей деморализаціи.

Отыскивали и ждали поры, когда съ этимъ врагомъ можно посчитаться.

Такая пора наступила: кабинетные радѣтели рѣшили пересоздать основы государства.

Что-то глубоко трагическое есть въ этихъ радѣтеляхъ: спятъ спятъ и проснутся для того, чтобы быть жалко-смѣшными, а иногда и преступными.

III.

Талмудъ говоритъ:

„Народъ можно только тогда побить, когда уже побиты его боги, т.-е. его нравственные идеалы, его лучшія стремленія.“

Но развѣ у русскаго народа были идеалы и стремленія?

Въ смыслѣ духовныхъ цѣнностей у народа были и есть смутныя надежды на что то лучшее, чѣмъ то, что онъ имѣетъ, но идеаловъ и стремленій сильныхъ къ лучшему у него не было: откуда бы онъ ихъ могъ почерпнуть, если это благо не вошло въ плоть и кровь передовыхъ людей—включительно до нашихъ гг. писателей—этихъ, какъ они себя величаютъ, „духовныхъ вождей общества и народа? *).

Реальнѣе всего народъ видѣлъ свое неизмѣнное „разбитое корыто“. Страдалъ надъ этимъ корытомъ и ждалъ, когда ему укажутъ, какъ его починить, ибо, вѣдь, чуть-ли не столѣтіе его *печальники* вопили объ этомъ корытѣ, проливали слезы о такой бѣдности, бичевали себя *неоплатными долгами*, но никогда и ничего существеннаго для погашенія долга не могли сдѣлать. Какое бы не затѣвалось общественное дѣло, благое начинаніе для „малыхъ сихъ“—безъ того не могли обойтись, чтобы не втиснуть начинаніе въ мертвыя, книжныя формулы.

А жизнь не книга: такихъ формулъ она не терпитъ. И отцвѣтали затѣи, не успѣвъ расцвѣсть.

*) Разумѣю только современныхъ.

Начата только еще закладка—живые люди служили бы живому дѣлу живой молебнъ, а безличіе кабинетныхъ радѣтелей начинало уже тянуть панихиду.

Такъ хоронилось все, чѣмъ хотѣли отплатить за то:

— Бѣдный народъ! Мы не можемъ не сознавать, что мы воспитаны, выхолены, отъ его же „разбитаго корыта.“

Такъ было до революціи. Наступила эта позорная пора—кабинетные радѣтели назвались „товарищами“.

Началась вакханалія. Товарищи плохо уясняли себѣ, что такое „чувство мѣры“. У однихъ не было этого достоинства по молодости, у другихъ... ужъ очень страшно развитой апетитъ имѣли на жирные куски жизни.

Кто можетъ утверждать, если бы *печальники* народа очутились въ роли побѣдителей, что не было бы такой картины: побѣдители дѣлятъ жирные кусочки, а народъ стоитъ въ сторонѣ и почесываетъ затылокъ?

Такъ, когда русскій человѣкъ ошеломленъ обманомъ!

Народу сыпались благія обѣщанія безъ чувства мѣры и ему же, можетъ быть, сказали бы:

— Что? Этого еще не доставало? Хотя мы кое-что и предвидѣли, но не до такой степени.

И стали бы возмущаться:

— Такой хамъ пробудился: спитъ и видитъ, какъ бы побольше захватить!

И возможно, что возмущеніе вылилось бы въ форму: печальники народа показали бы изъ своей среды Россіи „русскаго Марата“.

Но никому и ничего захватить не удалось.

Тогда вытащили на свѣтъ Божій старую-престарую старушку, которая давно молитъ отпустить ея душеньку на покаяніе:

— Переоцѣнку цѣнностей.

Переоцѣнивать, въ сущности, было нечего, ибо кабинетные радѣтели настоящихъ цѣнностей до революціи не имѣли.

Такимъ образомъ „товарищи“ сотворили то, въ чемъ упрекали бюрократію.

— Ничему не научились, ничего не забыли.

Расшевелили старуху. Пошла пророчить бабушка. Но старастарая: выжила изъ ума.

Надо было учесть: почему кабинетные радѣтели потерпѣли пораженіе, ужасъ котораго выноситъ только исключительно народъ: тѣ реформы, которыя онъ добылъ—реформы для кабинетныхъ радѣтелей. Но учетъ пошелъ не по этому пути. До пересозданія основъ государства царилъ позитивизмъ, — изъ христіанъ нарождались безнадежные атеисты, а послѣ горькой попытки „съ пересозданіемъ основъ“—возродилось христіанство и изъ безнадежныхъ атеистовъ мигомъ народились безнадежные христіане.

Этого мало?—Были космополитами—заговорили о величіи націоанализма.

Ну, развѣ не воистину: проснулись для того, чтобы быть преступными и засыпаютъ, чтобы быть смѣшными?

А народъ?! А его разбитое корыто?!

IV.

„Слова ученія прочны у того только, кто отрицаетъ свою личность".

Это говоритъ тотъ же Талмудъ.

Такъ хороши эти слова... эпиграфомъ къ кабинетнымъ радѣтелямъ!.

Они ли не отрицали для народа свою *личность?*

Цѣлое почти столѣтіе бились надъ вопросомъ о лучшей жизни, надъ выходомъ изъ мучительныхъ потемокъ къ свѣту, но почему-то ни на одну іоту не подошли къ рѣшенію такой задачи.

Какое то роковое безсиліе, бѣгъ бѣлки въ колесѣ. Но иначе быть и не могло.

Помышляли о благѣ народа, идеально ныли, но нытье нытьемъ такъ и осталось потому, что кабинетные радѣтели не въ силахъ были отрицать свою личность: личности у такихъ господъ не было.

Личность, отрицающая во имя своего ученія себя,—сила. Такая сила—творчество.

И прежде, чѣмъ браться за народъ, кабинетнымъ радѣтелямъ слѣдовало-бы воспитать изъ себя такую личность—такая величина учла бы: съ чѣмъ надо подходить къ народу.

Жертва требуетъ жертвъ, а не злой болтовни и жадныхъ разсчетовъ.

Безличіе печальниковъ народа обрекало на крахъ всѣ попытки выйдти изъ рокового круга проклятой жизни.

Послѣдняя попытка—освободительное движеніе: Апоѳеозъ Безличія! Того, что враждебно истинному отрицанію личности.

Не буду говорить о кабинетныхъ радѣтеляхъ съ принципами Маркса, Каутскаго, Бебеля изъ общества—безсильны принципы этихъ именъ противъ принципа „своего уголка"—буду говорить о тѣхъ, кто взялъ на себя привилегію *на учителей жизни.*

Не только у Горькаго, у Андреева, у писателей рангомъ двумя ниже, а у всякой литературной моли въ произведеніяхъ революціоннаго періода читалось упоеніе и ослѣпленіе своимъ Я.

Такъ культивировалась личность изъ тѣхъ: если ужъ собой ослѣпленъ—отрицать себя не будешь.

Всѣ были титаны, вершители судебъ страны.

Вопили:

— Такъ дольше жить нельзя!

Народъ при видѣ своего „разбитаго корыта" повѣрилъ, что

дѣйствительно нельзя, и пошелъ на баррикады умирать, а кликуши тоже умирали: за письменнымъ столомъ—на время, пока пишется поджигающая статья, разсказъ.

И искренно воображали: они жертвуютъ собой для блага народа!

Потомъ... еще не побѣдили, но уже били побѣду въ литавры.

Но немного ошиблись: у правительства на ту шешу́ру, которая руководила обманутымъ „пушечнымъ мясомъ", нашлось силы съ избыткомъ.

Кабинетные радѣтели были поражены.

Не народъ, а его печальники: народъ въ массѣ своей непобѣдимая сила, темная, неразгаданная личность — эта личность отхлынула отъ борьбы, замкнулась въ себѣ и исторія будущаго скажетъ, что за судъ она вынесла своимъ вожакамъ.

Безличіе—нѣчто глубоко родственное Безразличію.

Эти два милыхъ плюса къ кабинетнымъ радѣтелямъ вызвали на свѣтъ революцію и они же ее отпѣли и похоронили.

Забыли печальники народъ. Забыли вопли:

— Такъ дольше жить нельзя.

Нашли, что:

— Можно!

Явилось забвеніе:

— Въ разрѣшеніи половыхъ проблемъ.

И даже съ ликованіемъ:

— Революція поражена? Пусть. У насъ пошла революція духа! Это важнѣе...

О народѣ забыли. Онъ уже не нуженъ. Вотъ, если бы новая надобность въ немъ: какъ пріятно, когда намъ таскаютъ каштаны изъ огня!

Народъ въ дни революціи восторженно полюбили мистики, эротоманы, всѣ категоріи героевъ Крафтъ—Эбинга, но когда миновала надобность въ немъ, онъ сталъ *быдло*, вызывающее брезгливое чувство.

Не даромъ же, вѣдь, кабинетные радѣтели эстеты!

Вмѣсто золотыхъ буквъ,—а развѣ такими уже не приговлялись писать?!—революція грязью и кровью вписала въ русскую исторію то, что у печальниковъ народа никогда не было спайки съ народомъ: любви и уваженія къ нему.

Но, какъ и до этого кабинетные радѣтели воображали, что они любятъ и уважаютъ народъ, такъ и послѣ—паразиты слова отдавъ дань половымъ проблемамъ, призывамъ уйдти въ глубь временъ—къ миѳамъ, а другіе къ новымъ эрамъ, предвѣстницей которыхъ явилась Дунканъ, словомъ, всего и неперечтешь—они вновь запищали „о кризисѣ интеллигенціи".

— Мы безъ дѣла! Безъ почвы! Черные годы надвинулись на насъ!

Какъ будто бы у нихъ когда то были свѣтлые годы, ознаменованныя настоящими дѣлами!.. Запищали такъ, какъ будто

бы черные годы надвинулись внезапно, нежданно—негаданно. Попищали—и вновь надумали... полюбить народъ! До такой степени мила и соблазнительна для безсильныхъ и безличныхъ господъ эта темная, огромная сила-личность, что даже такіе гуси, какъ Андрей Бѣлый, забыли о своихъ „геніальныхъ симфоніяхъ“ и пристегнули себя къ музѣ Некрасова.

О томъ, чтобы серьезно задуматься, что черные годы надвинулись не внезапно, что десятками лѣтъ въ кабинетныхъ радѣтеляхъ вырождался человѣкъ—объ этомъ не задумались.

Никто не вспомнилъ, что это вырожденіе привело печальниковъ народа къ тому, что на страницы нашего освободительнаго движенія есть такія золотыя слова Гейне:

„Мнѣ страхъ волнуетъ кровь,
Когда Оселъ иль Волкъ поютъ хвалу свободѣ,
Или Змѣя воркуетъ про любовь!“.

Увы, для нашей революціи Гейне оказался пророкомъ.

И народъ, когда нибудь въ этихъ словахъ разберется вполнѣ,—а тогда учтетъ всю силу злой ироніи въ томъ: кто были его вожди?! Онъ учтетъ и вторично недопуститъ, чтобы такіе *печальники* вели его, какъ мясникъ ведущій быка на убой: а ну, сколько сала и мяса дастъ сія животина?

V.

Чудовищный винигретъ!

Въ то время, когда одни объявляли себя носителями идей новаго народничества(?!), другіе совсѣмъ отказались отъ какихъ бы то не было идей.

Всѣ люди во всѣ времена для чего то жили, куда то шли, много, конечно, заблуждались, но на мѣстѣ не стояли,

А въ двадцатомъ вѣкѣ, вѣкѣ, отъ котораго ждали такъ много чудесъ—былъ данъ сигналъ:

— Остановитесь! Человѣкъ выше идеи! Остановитесь: дальше некуда идти и нечего желать!

Дѣйствительно, чудо: то кабинетные радѣтели въ области жгучихъ вопросовъ человѣка были безпомощнѣе кротовъ слѣпыхъ, то вдругъ встали выше всѣхъ загадокъ.

Воцарилось Царствіе Божіе на землѣ—не за что ратовать, не къ чему стремиться въ предѣлахъ земли: идеи земныхъ достиженій всѣ разрѣшены, остались идеи міровыхъ постиженій—но и въ этихъ тайнахъ вселенной мы счастливы до того:

— Человѣкъ всталъ выше идеи!

Таинственный сфинксъ—смерть: чепуха!

Мы разрѣшили не только остро-волнующій насъ трепетъ небытія послѣ смерти, но и трепетъ того *до бытія*, о которомъ говорилъ Шопенгауэръ.

Но несмотря на такое великое открытіе, что человѣкъ выше какой либо идеи, кабинетные радѣтели не выказывали никакихъ признаковъ торжества.

Этотъ громкій сигналъ—былъ уже слишкомъ чудовищно—упрощенный рецептъ противъ всѣхъ соціальныхъ золъ. По мысли автора выходило, что человѣкъ встанетъ выше идей тогда, когда совершенно забудетъ о нихъ думать.

Культъ животнаго существованія былъ поставленъ выше всего. Каковы бы не были невыносимыя условія жизни—пресмыкайся на землѣ и помни, что главное въ твоемъ существованіи это то, что когда не станешь думать объ идеяхъ, никто не посягнетъ на твое право—право пресмыкаться!

Выше права пресмыкаться нѣтъ ничего, а поэтому: ползайте по землѣ съ сознаніемъ, что ползать ваше единственное благо *).

Такъ учили одни. А другіе—въ томъ состояніи, какое они переживали, винили все того же козла отпущенія—правительство.

До революціи они переживали прострацію, послѣ—тоже.

— Мы переживаемъ состояніе прострации. Въ такой атмосферѣ, какъ казни, хаотическое положеніе всей страны, отсутствіе обѣщанныхъ реформъ—иначе жить нельзя.

Одно ли правительство виновато?

Великія, сильныя души знаютъ „упадки духа“, но такой хронической прострации не вѣдаютъ.

Это удѣлъ мелкихъ душъ, а въ такихъ—была прострація, есть и будетъ прострація и творить они будутъ только прострацію.

Это милое словечко вело и будетъ вести кабинетныхъ радѣтелей отъ паденія къ паденію. И чѣмъ ни выше подъемъ—тѣмъ больнѣе и ниже сверженіе.

Большія души не жаловались бы. Если бы упадокъ духа былъ такъ великъ, что нѣтъ силъ подняться—молчаливымъ страданіемъ они искупали бы пораженіе и его послѣдствія.

Всѣ жалко жалились—и только у одного журналиста *суровая скорбь* вырвала такія слова, когда при немъ подводили итоги освободительнаго движенія:

— «Всякое общество достойно своего правительства!..»

Какая страшная правда, суммирующая въ нѣсколькихъ словахъ всѣ достоинства кабинетныхъ радѣтелей!

Безличіе за свои грѣхи никогда глубоко не страдаетъ. Нельзя было «съ прострацiей» подступаться къ народу. Свято и

*) Поразительно, что это было напечатано въ одномъ изъ толстыхъ журналовъ: въ «Образованіи».

страшно—трагично его „разбитое корыто“, велика задача: какъ это корыто починить.

И если культъ обсахариванія „мужичка и пролетаріата“ до революціи оказался слѣпымъ и неудачнымъ культомъ, то послѣ революціи такой культъ—насмѣшка надъ народомъ,глумленіе подъ личиной сочувствія надъ его страданіями.

Нельзя Андрею Бѣлому надѣвать на себя тогу пророка „горя-гореваньица“, ибо такой пророкъ можетъ прожить въ одномъ домѣ десятки лѣтъ и никогда не пойметъ души швейцара этого дома.

Леонидъ Андреевъ самая крупная величина литературнаго міра—и никто больше его не поглумился надъ жизнью.

Когда— кабинетные радѣтели чувствовали себя титанами—онъ написалъ „Савву“, „Къ звѣздамъ“ и т. п. Какъ наиболѣе чуткій выразитель общественныхъ колебаній—онъ черезъ нѣсколько времени сотворилъ уродливую вещь „Жизнь человѣка“.

Какими пигмеями чувствовали себя титаны, когда поставили надъ жизнью «Нѣкто въ сѣромъ?»

Какъ мало должно быть у такого писателя чувства отвѣтственности передъ человѣкомъ, если въ несчастіи людей онъ не задумался обвинить Бога?

Безличіе на все дерзнетъ и ни за что нравственно не поплатиться.

Послѣ „Жизни человѣка“—новый шедевръ: „Анатэма“.

Это уже ни болѣе ни менѣе, какъ откровенное: „Возьми на свое попеченіе Боже, что намъ не гоже! А мы отказываемся отъ этой тупой, вѣчно-голодной голытьбы“.

Не нужно доискиваться панацеи отъ всѣхъ золъ, ибо надъ жизнью „Нѣкто въ сѣромъ“,

Онъ все предопредѣлилъ и, если хорошенько вдуматся въ его предопредѣленія, то приходишъ къ выводу, что „все предопредѣлено раціонально и цѣлесообразно“. (Мои записки“).

Леонидъ Андреевъ не настолько слѣпъ, чтобы иногда не видѣть истиннаго лица жизни, ея истинныхъ палачей,—(„Царь голодъ“, „Проклятіе звѣря“) но, какъ плоть отъ плоти, кость отъ кости кабинетныхъ радѣтелей,—онъ самый точнѣйшій флюгеръ этихъ господъ;

— Куда сильнѣе оттуда подуетъ—въ ту сторону онъ и поворотится.

Понадобится спѣть гимнъ кошмару капиталистической культуры—онъ вдохновится и талантливо выполнитъ.

Этотъ геній безличія знаменіе времени: все выше и выше онъ поднимается въ роли „Властителя думъ“, но почему-то не считается *учителемъ жизни.*

Не знаменательно-ли это?

И можно ли говорить о идеалахъ и стремленіяхъ народа, когда передовое общество въ лицѣ своихъ вѣрныхъ выразителей не видитъ того, чему бы надо поклонятся и слѣдовать? Да, нѣтъ

и не было у народа земныхъ боговъ — эта темная, огромная коллективная личность еще вынашиваетъ своего бога и, когда выноситъ—не выдастъ его, сумѣетъ его отстоять.

Кабинетные радѣтели, не трогайте народа! Довольствуйтесь ролью быть представителями буржуазіи и... не трогайте народа!..

VI.

Появились „Вѣхи“.

Литература вчерашнихъ друзей.

Осмѣлились друзья сказать своимъ пріятелямъ, что имъ не до большихъ дѣлъ:

— Ремесленники не могутъ быть строителями.

Это общій выводъ „Вѣхъ“ и общее заключеніе:

— А если иногда и строятъ, то катострофа на лицо!

М. Гершензонъ разразился: „Интеллигенція—кучка искалеченныхъ душъ, тупое стадо, сонмище больныхъ, изолированное въ родной странѣ, а интеллигентскій бытъ въ цѣломъ ужасенъ, подлинная мерзость запустѣнія“.

С. Булгаковъ, можетъ быть, и искренно позолотилъ горькую пилюлю Гершензона:

„На ряду съ чертами отрицательными... въ страдальческомъ обликѣ русской ителлигенціи просвѣчиваютъ черты духовной красоты, которыя дѣлаютъ ее похожей на какой то совсѣмъ особый, дорогой и нѣжный цвѣтокъ, взращенный нашей суровой исторіей, какъ будто и сама она есть тотъ „красный цвѣтокъ“, напившійся слезъ и крови, который видѣлся великому сердцемъ Гаршину.

Для меня это звучитъ очень приторно! Не чувствую за такой похвалой возмущенной совѣсти.

Мѣткій ударъ наноситъ Бердяевъ:

„Недостойно свободныхъ существъ во всемъ винить внѣшнія силы и ихъ виной оправдывать себя“.

Булгаковъ рекомендуетъ старый рецептъ:

„Послѣ того, какъ многіе въ Россіи послѣ революціи и въ результатѣ ея опыта испытали острое разочарованіе въ интеллигенціи и ея исторической годности—русскую интеллигенцію въ данный часъ исторіи нужно призывать къ самокритикѣ, къ покаянію, къ обличенію ея духовныхъ болѣзней“.

Пора, давно пора! Но съ чѣмъ подходить къ такой задачѣ? Повторять „кающихся дворянъ“.

Жизнь геніальный учитель для тѣхъ, кто не проходитъ съ разинутымъ ртомъ мимо всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ явленій.

Кто идетъ по дорогѣ жизни съ остро-вдумчивымъ взглядомъ въ жизнь и въ человѣка, съ чутко-мучительной пытливостью — въ какихъ противорѣчіяхъ жизни и человѣка *больше боли и отчего?*— тотъ неизбѣжно встрѣтиться съ тѣмъ, чему училъ Сократъ:

— Познай самого себя.

Кабинетные радѣтели никогда не знали и, въ большинствѣ случаевъ ошибались въ выборѣ того, что имъ было нужно, шли туда, куда ихъ не просили и не были тамъ, гдѣ ихъ настоящее мѣсто.

А кабинетныхъ радѣтелей всегда и постигалъ именно такого рода рокъ: въ этомъ тоже виноватъ „Нѣкто въ сѣромъ"! Но чтобы съ этими радѣтелями не случалось—мнѣ думается, что они были далеки и будутъ отъ мысли признать себя исторически негодными, въ чемъ либо каятся,— Безличіе къ этому органически несклонно!,—словомъ, уступать свое первенство.

Поднятый „Вѣхами" шумъ—шумомъ и останется. *)

Онъ тянется уже больше года, протянется, можетъ быть, еще столько же, но сведется, вѣроятно, къ результату: милые ссорятся—только тѣшатся.

Въ крайнемъ случаѣ придумаютъ какой нибудь компромиссъ и, „во имя исторической годности" примирятся.

Обиженные изъ криковъ Гершензона сплетутъ себѣ терновый вѣнецъ затѣмъ, чтобы такая мученица, какъ русская интеллигенція, была увѣнчана лавровымъ.

Тургеневъ видѣлъ (а на что уже самъ былъ баричъ!) въ интеллигенціи толпу веселящихся на балу господъ; Некрасовъ—кающихся дворянъ; Чеховъ—безволіе, безхарактерность, отвращеніе къ труду; Горькій сравнилъ съ „Дачниками", которыхъ нужно вымести изъ жизни, какъ тотъ соръ, который они оставляютъ послѣ себя и, наконецъ, Лозинскій—видѣлъ въ интеллигенціи зрѣющій классъ эксплоататоровъ „быдла", т.-е. народа.

Я умолчу о терминѣ, какимъ опредѣляю интеллигенцію.

Я хочу дать факты—только факты, выстраданные на собственной шкурѣ: дѣло читателя судить по этимъ фактамъ, кто и что русская интеллигенція и, можно ли вообще говорить *о ея исторической годности.*

Когда то и я думалъ, человѣкъ изъ народа, что интеллигенція „строительница жизни", но когда познакомился *съ строителями жизни*, когда увидѣлъ, что прекрасными словами прикрываются только для того, чтобы въ дѣйствительности разыгрывать скверные по цинизму фарсы и грубыя и тяжкія трагедіи, когда я понялъ, что рабы, которые думаютъ, что единственный путь не быть рабами—это столкнуть съ мѣста своего хозяина, **) а если хозяинъ изъ категоріи *недостижимыхъ* валить всю человѣческую подлость на него, когда я все это понялъ и, наконецъ услышалъ, что интеллигенція мнитъ себя „мозгомъ и совѣстью народа", „критически—мыслящей личностью", которой, чтобы она ни творила: „Да будетъ ей тріумфъ!"—тогда я рѣшилъ:

—Читатель судите по фактамъ, что это „за мозгъ и совѣсть народа", достойна-ли тріумфа или позора? Оскаръ Уайльдъ, когда тюрьма открыла ему глаза на его творчество до тюрьмы—сказалъ истину:

— Что касается одного,—касается всѣхъ.

Только тогда, когда скорбь и страданія заглянули ему въ душу, онъ спросилъ себя:

— Что такое міръ по отношенію ко мнѣ и, что такое я по отношенію къ міру?

Блестящій мыслитель на вершинѣ своей славы не хотѣлъ думать о томъ, о чемъ задумался въ тюрьмѣ; упоенный головокружительнымъ успѣхомъ онъ далекъ былъ отъ мысли, что если талантъ давитъ въ себѣ чувство отвѣтственности передъ жизнью вообще, передъ каждымъ человѣкомъ въ частности — онъ служитъ разложенію своей личности и гибели личности въ тѣхъ, кто видѣлъ въ немъ учителя.

Обалдѣлъ Оскаръ Уайльдъ отъ поклоненія и гордо изрекалъ:

— Я признаю Бога только тогда, когда на землѣ не будетъ ни однаго несчастнаго.

Старая истина: счастливые люди слишкомъ слѣпы.

Обалдѣлъ Леонидъ Андреевъ отъ успѣха и началъ „отмахиватся ручкой" отъ своей совѣсти писателя произведеніями: „Жизнь человѣка", „Мои записки", „Анатема". *)

Чѣмъ отмахнется еще—время покажетъ, но оно же, можетъ быть, Леонида Андреева и убѣдитъ, что міровая совѣсть въ лицѣ своихъ лучшихъ людей такого *безотвѣтственнаго міра непріемлетъ*!

VII.

Если я слышу, когда кто нибудь жалуясь на свою горькую жизнь, все сваливаетъ на судьбу—я улыбаюсь: другъ мой, судьба—это люди. Если не захочешь подлаживаться къ нимъ, если во имя своихъ цѣнностей не будешъ поклонятся общему укладу, не согнешься „до теоріи приспособленія", приготовься къ тому, что кромѣ неудачь и напастей, жизнь тебѣ ничего не дастъ.

Милое человѣчество со всей его философіей гуманнизма, съ прекрасными призывами „къ царству Божію на землѣ"—въ сущности остается все тѣмъ же хитрымъ и хищнымъ звѣремъ,

*) Странно въ „Вѣхахъ" то: почему авторы „Вѣхъ" не попытались изобличать своихъ друзей своевременно?

**) Такіе рабы на мѣстѣ хозяина будутъ еще хуже, чѣмъ хозяинъ.

*) „Богъ—по очень остроумному замѣчанію одного французскаго романиста,—охотнѣе терпитъ тѣхъ, которые его совсѣмъ отрицаютъ, чѣмъ тѣхъ, которые его компрометпруютъ.

у котораго выше всего въ дѣйствительности звѣриное начало: вѣчно быть на сторожѣ и видѣть врага не только въ такомъ же врагѣ, каковъ самъ, но часто и въ другѣ своемъ, ибо не терпимъ мы не похожаго на себя.

Если этотъ непохожій за предѣлами нашей досягаемости, мы на него злобно пошипимъ, иногда рабски и хамски поклонимся и превознесемъ, но если у насъ есть еще возможность вліять на его судьбу— одинъ изъ десятка тысячъ, можетъ быть воздержится отъ крика:

— Добей его!

Спѣшу оговорится, что такой крикъ нужно понимать не въ буквальномъ смыслѣ: мы достаточно культурны для этого.

Культура — эта мудрая волшебница, отучила насъ отъ откровенно-кровожадныхъ криковъ римлянъ: взамѣнъ она дала намъ санкціонирующее молчаніе и безразличіе.

Культура одной стороной кажетъ намъ прогрессъ, другой— регрессъ.

Мы регрессируемъ страшно.— *И въ лицѣ кого?* Если бы я теоретически попытался доказать, что люди съ міровыми именами болѣе жестоки, чѣмъ дикари, я сознаю, что мнѣ это бы не удалось.

Мы прогрессируемъ къ атрофіи души человѣка, самые лучшіе люди изъ насъ неспособны видѣть, что „адъ мостимъ мы добрыми намѣреніями“, что прежде чѣмъ человѣка сразу бы добить, мы его еще растянемъ „на прокрустово ложе“.

Это я и хочу своими записками доказать.

Литературная этика требуетъ, когда описываются явленія изъ жизни литературнаго міра, дабы этотъ міръ ни дескритировать, чтобы настоящія имена прикрывались псевдонимами.

Я чуждъ принципа „невыносить сора изъ избы“ и стою за подлинность именъ.

Если вы, читатель не полѣнитесь пройдти со мной тотъ этапъ, который я прошелъ на литературномъ поприщѣ—изучайте родныхъ писателей не по ихъ твореніямъ, а потому, какъ они оперируютъ надъ живыми организмами въ жизни.

Я убѣжденъ, что когда мы „человѣки“ только на бумагѣ— мы „тать въ нощи“.

Авторъ.

Москва, Апрѣля 12/1910 г.

I.

Вотъ оно одно изъ наибольшихъ самопроклятій человѣчества: Капиталъ!

Къ 24 годамъ онъ изъ меня высосалъ все, что можно высосать, и выбросилъ изъ сферы труда вонъ, какъ негодную, вполнѣ исполнившую свое назначеніе ветошь.

Пошелъ я въ больницу—не приняли:

— У насъ не богадѣльня. Займете только мѣсто. Поѣзжайте въ Крымъ на грязи—тамъ такой ревматизмъ можно вылечить. Поняли?

Я понялъ, что врачъ не изъ умныхъ людей: знать, что больной изъ рабочаго класса, видѣть, что онъ крайне бѣдно одѣтъ и посылать въ Крымъ?!

Вмѣсто Крыма я отправился на родину. Прибылъ и поселился въ наслѣдственномъ домѣ, дающимъ въ мѣсяцъ 12 рублей дохода.

Измученный дорогой, придавленный сознаніемъ, что моя пѣсня спѣта, я въ первые дни отнесся къ своему положенію съ чувствомъ огромнаго облегченія—много спалъ, просыпался и, лежа съ закрытыми глазами, думалъ:

— Ну, что же... Плохо, бѣдно, но жить есть на что. Свой уголъ—есть гдѣ умереть. Многимъ приходится доживать свой вѣкъ хуже.

Но, прошла недѣля, другая—я глубже взглянулъ въ свое положеніе и ужаснулся.

Однообразно и тяжко-томительно тянулись дни моего прозябанія.

Стояла скверная, дождливая осень. Вдовая сестра, поселившаяся со мной, вставала рано утромъ и уходила на работу. Иногда не приходила ночевать домой по два—три дня.

— За день—то умаешься, а путь до дому неблизкій.

Три раза въ день навертывалась баба, жена квартиранта, готовившая мнѣ обѣдъ и самоваръ. Въ недѣлю, въ двѣ недѣли разъ бывали у меня два брата, приходившіе исключительно затѣмъ, чтобы поглумиться надъ моимъ несчастіемъ.

Моимъ убѣжищемъ была маленькая избенка, унылa пучившая окна въ небольшой и чахлый садъ. При жизни отца онъ былъ цвѣтущимъ, красивымъ уголкомъ, послѣ его смерти—заброшенный, медленно погибалъ.

По цѣлымъ днямъ я просиживалъ у окна, страдающій отъ мысли, что необъятность міра для меня ограничена только взглядомъ изъ этого окна,—на небольшой, безплодный кусокъ земли.

Подъ конецъ осени со мной стало твориться уже нѣчто неладное. Наблюдая, какъ вѣтеръ рветъ и треплетъ засыхающія и уже засохшія деревья, я тихо-тихо говорилъ:

— Да, братъ, погибаемъ мы. Плохо намъ.

Я говорилъ—усиліемъ воли подавляя въ себѣ внезапныя приливы крика или хохота.

Все чаще и чаще бывали безсонныя ночи. Мучаясь отъ ревматическихъ болей, я съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда тусклый осенній разсвѣтъ кисло заглянетъ въ окна. Вставалъ и торопливо, точно сейчасъ увижу дорогого человѣка, съ которымъ можно подѣлиться своимъ несчастіемъ, ковылялъ къ окну.

— Что же, братъ, а? Вѣдь, такъ невозможно. Гибнемъ мы, но когда конецъ? А если такъ будемъ чаврить еще пять-десять лѣтъ? а?

Все еще одѣтый дымкой осенней мглы, садъ стоялъ безконечно печальный. И казалось, что ему холодно, что и онъ такъ же раздавленъ, какъ я, и недоумѣваетъ: въ самомъ дѣлѣ, когда же?

Прошла осень. Наступила зима. Ревматизмъ меня немного пріотпустилъ. Свое жилище я отоплялъ усердно, но безполезно: все выдувало.. По цѣлымъ днямъ я валялся въ постели, кутаясь во все, чѣмъ можно согрѣться, и то съ тупой ненавистью смотрѣлъ на одинъ болѣе другихъ раздавшійся уголъ избенки, изъ котораго торчали, опушенные снѣгомъ, куски льда, то былъ захваченъ остро-волнующимъ раздумьемъ.

Я жилъ неподавимой тоской по образу человѣка,—по тому образу, что въ лицѣ человѣка встрѣтилъ въ жизни однажды; обстоятельства съ этимъ человѣкомъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ знакомства заставили насъ утерять другъ-друга изъ вида, но врѣзался этотъ человѣкъ въ меня, какъ фактъ, что не напрасно въ нашей душѣ живутъ стремленія къ прекрасному.

Я припоминалъ этого человѣка, я переживалъ мельчайшія подробности нашихъ встрѣчъ и бесѣдъ, я учитывалъ, сколько скитаній по городамъ и весямъ Руси понадобилось, пока я столкнулся съ этимъ человѣкомъ—я слишкомъ дорого заплатилъ за счастье встрѣтить „полноту личности“ и нераскаивался.

Съ юныхъ лѣтъ я носилъ въ себѣ наклонности: жить не тѣмъ, что меня окружаетъ, а тѣмъ, что внѣ черты этой жизни. Отсюда, когда я выучился зарабатывать кусокъ хлѣба, начались мои метанія: болѣе пяти-шести мѣсяцевъ я не жилъ ни въ одномъ городѣ.

Я пытливо вглядывался въ перемѣну мѣста, въ новыхъ людей и, когда убѣждался, что перемѣна мѣста есть, а новыхъ людей нѣтъ, что и тутъ все та же жалкая, несчастная жизнь, отъ которой я бѣгу изъ города въ городъ—тогда я не силахъ былъ оставатся и бѣжалъ, что называется „куда глаза глядятъ“.

Эти скитанія были источникомъ мучительныхъ раздумій. Я пытался убить ихъ въ себѣ фразой: „тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ“—тѣмъ, что вездѣ мнѣ говорила дѣйствительность. Но такъ до самой болѣзни съ мыслью, гдѣ нибудь осѣсться прочно, не примирился. Болѣзнь приковала меня къ одному городу на годъ: работалъ въ одномъ хорошемъ заводѣ, гдѣ больного рабочаго не выкидываютъ, а даютъ возможность поправить пошатнувшееся здоровье. Тутъ я встрѣтился съ этимъ человѣкомъ, тутъ административное усмотрѣніе разбросило насъ въ разныя стороны, заставило утерять другъ-друга изъ вида.

Я снова было устроился на мѣсто, гдѣ могъ долечиться, но тоска, тоска страдающая по человѣку, тоска не въ силахъ переносить лицъ людишекъ, снова бросила меня на путь скитаній.

Я сознавалъ, что я иду къ гибели, что болѣзнь принимая хроническую форму лишитъ меня возможности существовать — и все таки метался изъ города въ городъ:

— Можетъ быть, я еще встрѣчу такого человѣка!

Но такого я еще не встрѣтилъ, а къ положенію выброшеннаго изъ жизни пришелъ. И не раскаявался, что такой цѣной въ страшно-безотрадной дѣйствительности я купилъ возможность видѣть одну только „жемчужину дѣйствительности“. Я упивался этой жемчужиной и всѣмъ чающимъ высшей красоты въ подобномъ себѣ,—мнѣ хотѣлось кричать изъ стѣнъ своей жалкой избенки:

— О, лелѣйте, лелѣйте золотыя грезы своей души! Пусть онѣ смутны, пусть вы не чувствуете въ дѣйствительности отдаленнаго подобія своихъ грезъ, но вѣрьте, постоянно вѣрьте, что онѣ есть, существуютъ. О, лелѣйте, лелѣйте золотыя грезы своей души, ибо только неустанно вѣрующему и ищущему можетъ выпасть великое счастіе: увидѣть то, о чемъ смутно грезилъ, ясно воплощенное въ человѣкѣ!

Я упивался и это упоеніе толкало меня на несообразности. Я забывалъ, что изъ тьмы видѣнныхъ лицъ, я только въ одномъ лицѣ видѣлъ чудо, и создавалъ себѣ иллюзіи. Вставалъ, одѣвался и шелъ къ воротамъ дома своего.

Окраина города. Тихія, пустынныя улицы. Мерзну, а жду, когда появится рѣдкій прохожій. Жаднымъ-жаднымъ взглядомъ вопьюсь въ его лицо: что онъ переживаетъ? а не увижу-ли хоть малѣйшую черточку, хоть тысячное отображеніе того лица-чуда?!

И вижу лицо тупое, порабощенное жизнью, злое и слѣпо мстительное за свои обиды, лицо безъ черточки откровенія свободнаго человѣка—я вижу раба своего Я, не помышляющаго даже о свободѣ своего духа, и угрюмо ковыляю въ свою избенку.

Нераздѣваясь, садился на постель и обхвативъ колѣна руками, начиналъ покачиваться изъ стороны въ сторону.

Я говорилъ себѣ, что я почти трупъ, что мнѣ только 24 года, а я заброшенъ, никому не нуженъ, что я не выдержу агоніи, конца которой не вижу.

И то, что тянутся дни—дни безъ смысла и цѣли, а я не могу набраться мужества оборвать ихъ, доводило меня до состоянія—выразить страданіе котораго у меня не было словъ.

Я припоминалъ ту бездну жути, какую успѣлъ разглядѣть въ жизни до 24 лѣтъ, плотнѣе обхватывалъ колѣна и раскачивался—это меня спасало отъ крайности: казалось, что единственнымъ способомъ выраженія боли и скорби за ту дикую

боль и скорбь, что именуютъ „Жизнью“, есть только одно: сидѣть въ той позѣ, въ какой сидѣлъ я, и выть по звѣриному.

II.

Потомъ я къ своему положенію сталъ относится спокойнѣе. Старался меньше думать и началъ читать. Читая—мечталъ, что при другихъ условіяхъ и я, можетъ быть, былъ бы писателемъ. Въ раннемъ дѣтствѣ страдалъ порокомъ стихоплетенія, въ бытность рабочимъ тоже по временамъ былъ одержимъ зудомъ: за станкомъ стоишь, а фантазія разыгрывается и мысль,—„если это написать, пожалуй, будетъ интересно!“ Иногда и писалъ. Напишешь и бросишь. На время забудешь, а потомъ опять тоже. Но серьезно о писательствѣ никогда не думалъ: слишкомъ великимъ дѣломъ казалось мнѣ это.

И вотъ попадаются мнѣ біографія Горькаго; хвалебная литература ему.

Точно богъ надеждъ поселился въ избенкѣ моей. Трепетомъ восторга и гордости преисполнился я за Горькаго: изъ низинъ жизни—и такъ высоко?!

И впервые у меня появилась мысль, что образованіе для таланта необязательно.

Нѣсколько дней я колебался, а когда спросилъ себя:

— Что, собственно я теряю, если у меня не окажется данныхъ?

Тогда у меня явилась бумага и чернила: я засѣлъ за разсказъ!

Я писалъ и непостижимой загадкой было для меня: какъ возможенъ такой подъемъ при моемъ состояніи здоровья?

Коченѣли отъ холода руки—отогрѣвалъ ихъ на лампѣ; обезображенная ревматизмомъ правая рука неповиновалась перу, ныла каждымъ сочлененіемъ—свирѣпо насиловалъ ее, чтобы выводила болѣе четкія линіи письма.

Я работалъ по 10-12 часовъ въ сутки — спину разломитъ, боль въ плечахъ до невольныхъ при движеніи стоновъ,—но все это для меня было какъ что то такое, что не со мной, а съ кѣмъ то другимъ, а у меня—дни летятъ, летятъ дни, полные свѣтлыхъ и радостныхъ мгновеній.

Разсказъ у меня занялъ около двухъ недѣль.

Счастливое, незабвенное время, котораго больше не переживешь: я творилъ съ не отравленной душой, я творилъ безъ яда сомнѣній!

Отослалъ разсказъ въ „Ниву“ Не было до этого въ моей жизни ничего, чтобы я ввѣрялъ человѣку съ такой вѣрой въ его благородство.

Частицу своей души я отослалъ и вѣрилъ, что „тамъ“ понимаютъ, съ чѣмъ они имѣютъ дѣло.

Черезъ мѣсяцъ я получилъ отвѣтъ: „Къ крайнему сожалѣнію редакціи, вашъ разсказъ помѣстить не можемъ“.

— Почему „къ крайнему сожалѣнію?“—это первое, что мнѣ пришло въ голову.

Разсказъ былъ автобіографиченъ: вся мука человѣка моего положенія была въ немъ. Я не дерзалъ надѣятся на обязательный пріемъ своей вещи—я ждалъ совѣта на свой вопросъ: писать мнѣ дальше или нѣтъ? И могъ быть благодаренъ за слова:

— Продолжайте.

Или:

— Бросьте.

Отвѣты юмористическихъ журналовъ, гдѣ часто пошло изощряются въ остроуміи, и тѣ мнѣ казались осмысленнѣе.

Но вѣдь, это не юмористическій журналъ? Мучить мучающагося человѣка загадками—къ лицу-ли серьезному журналу?

Я долго думалъ надъ отвѣтомъ и рѣшилъ, что разсказъ не читался. И на другой день я отправилъ его обратно въ „Ниву“ со слегка склеенными углами первыхъ страницъ.

Черезъ двѣ недѣли я получилъ его,—съ знакомымъ уже отвѣтомъ: „Къ крайнему сожалѣнію редакціи, вашъ разсказъ помѣстить не можемъ“.

Провѣрилъ склейку страницъ: ни одна не тронута! Какая безсовѣстная игра словами! Вѣдь, только люди совершенно не уважающіе слова, могутъ нечитая вещи—писать: „Къ крайнему сожалѣнію“. Я растопилъ печь, бросилъ въ нее свой разсказъ и, наблюдая, какъ огонь медленно пожиралъ страницы тетради, переживалъ мучительное чувство: мнѣ казалось, что если бы послѣ этого я увидѣлъ свое первое произведеніе въ печати, я не испыталъ бы того упоенія, какое должно испытать при мысли, что написанное тобою читается десятками тысячь людей.

Горѣла частица моей души и негодовала душа моя:

— Не можете такъ поступать! Лжете вы, говоря, что искусство для васъ свято, если для васъ не святъ творецъ искусства. Дойти до того, чтобы забыть о томъ, что не камни вамъ шлются, значитъ вынимать душу изъ искусства. Святымъ мѣстомъ и дѣломъ не всякій жрецъ освящаетъ себя и въ почетныя тоги руководителей общественной мысли облекаетесь не по заслугамъ. Не можете такъ поступать!

Когда отъ разсказа остались тонкіе, дрожащіе, точно въ агоніи, листки пепла—я далъ себѣ слово больше не писать.

— До чего доходитъ виртуозность въ пренебреженіи къ человѣку. Не честнѣе-ли, если предложеніе подавляетъ спросъ—заявлять о томъ, чтобы авторы присылками рукописей не трудились, чѣмъ тѣшить „крайними сожалѣніями“?

III.

Недѣли на двѣ я въѣхалъ въ апатію. Сестра приносила книги, журналы—не читалъ.

Стояла четвертая недѣля великаго поста. Былъ праздничный день. На душѣ было исключительно скверно—и хмуро я пожаловался сестрѣ:

— Чортъ знаетъ... живешь, какъ въ тюрьмѣ. Свѣта невидишь.

Сестра молча посмотрѣла на окна, вышла изъ избы, вернулась минутъ черезъ пять и сказала:

— Чтожъ раньше молчалъ? Разъ безпокоитъ— давно бы квартирантъ Федорычъ отгребъ снѣгъ.

Явился въ саду Федорычъ и началъ работать. Окна были завалены почти доверху. И когда Федорычъ отбросилъ отъ нихъ снѣгъ—меня захватила волна восторга: снѣгъ въ саду побурѣлъ, тяжело осаживался, на деревьяхъ блестѣли капельки воды, по сучьямъ бѣсновались воробьи, весь садъ былъ ярко залитъ солнечнымъ свѣтомъ. Жизнью пахнуло на меня такъ, точно я десятки лѣтъ былъ заточенъ въ четырехъ стѣнахъ; съ великой радостью я почувствовалъ, что все мое одряхлѣніе только внѣшнее, временное—отъ недуга и обстановки; остро я понялъ, что я къ 24 годамъ въ сущности очень юнъ, молодъ, не изжитъ.

— Ганя, Ганя,—кричалъ я:—Смотри: Солнце! Солнце! Понимаешь ты... Боже мой—Солнце! а?

Сестра, придавленная суровой жизнью, мыслями о темной одинокой старости, посмотрѣла на меня съ недоумѣніемъ:

— Чтожъ, солнце? Впервые его что-ль видишь?

Такой вопросъ засталъ меня врасплохъ и я не зналъ, что мнѣ отвѣтить. Да и думать надъ отвѣтомъ не хотѣлось—блаженно лепеталъ:

— Ну, да конечно... Нѣтъ, конечно, видѣлъ и раньше, но, теперь оно какое то особенное.

— Какое „особенное"? Какъ всегда.

— Ну, нѣтъ! Вотъ и Федорычъ...

Я жадно смотрѣлъ на Федорыча и восхищался.

Ражій, сорокалѣтній мужикъ, съ краснымъ, какъ кумачъ, лицомъ, онъ былъ воплощеніемъ здоровья и силы: вырѣзывая лопатой тяжелые квадраты снѣга, онъ откидывалъ ихъ сажени за три—къ забору, какъ мячики.

— Ганя, какой онъ сильный! а? Такіе куски и такъ легко?!

Улыбаясь, сестра припомнила:

— Что Федорычъ,—развѣ бы у тебя такая сила была въ его лѣта, если бы не болѣзнь? Помню: ты въ 14 лѣтъ такъ снѣгъ чистилъ, какъ Федорычъ.

Слова сестры какъ то прошли мимо моего сознанія, но ея улыбка, улыбка состраданія и жалости больно рѣзанула меня: сразу улетучилось мое восторженное состояніе, вдругъ я почувствовалъ всю свою слабость, внезапно заныло болью все тѣло.

Съ трудомъ я добрался до постели, легъ къ стѣнѣ лицомъ, закрылъ глаза: хотѣлось подольше сохранить иллюзію восторга.

Но—свѣтило солнце, стоялъ сильный Федорычъ—но все это такъ далеко-далеко и не для меня: для меня близко, подошло вплотную и съ болью глубоко впилось въ меня—улыбка сестры.

Точно мнѣ заживо пѣли отходную.

Хотѣлось крикнуть:

— Пожалуйста, никогда такъ не улыбайся.

Потомъ я задремалъ и, когда очнулся—сестра уже куда то ушла.

Но солнце, Федорычъ съ этого дня вошли въ мою жизнь, какъ нѣчто неотъемлемое, какъ живые протесты противъ моего медленнаго умиранія.

Стоитъ только закрыть глаза и вижу чудесное свѣтило, ражаго мужика, и твержу себѣ:

— Въ самомъ дѣлѣ, чтожъ я: одна неудача—и уже руки опустились. Развѣ это характеръ? Что за безволіе? Надо пытаться еще. Отъ смерти не уйдешь, но и спѣшить къ ней не слѣдъ.

И иногда размышленія о смерти при мысли, что есть солнце и такіе прекрасные мужики, какъ Федорычъ, прерывались у меня смѣхомъ: я смѣялся надъ перспективой умереть въ 24 года, когда существуютъ такіе ликующіе символы жизни, какъ солнце и Федорычъ.

Иногда спохватывался:

— Куда ужъ? Ерунда. Всѣ они тамъ, вѣроятно, вродѣ „Нивы".

Да не надолго. Въ избенкѣ уже посвѣтлѣло; не видишь своего лица, а чувствуешь, что оно преобразилось; впадешь въ тихое раздумье и кажется, что кто-то невидимый, безъ границъ добрый и чуткій грустно и ласково манитъ къ себѣ, открываетъ даль прекрасную, гдѣ всему, чѣмъ больна душа твоя, грезится покой забвенія.

И самъ незамѣтишь, какъ сползешь съ постели, сядешь за столъ—и пишешь до тѣхъ поръ, пока... не явится демонъ „Крайнихъ сожалѣній!" Онъ меня ссорилъ съ Вдохновеніемъ. Стоило явиться ему—я бросалъ перо, прочитывалъ изъ написаннаго нѣсколько строкъ—Боже мой: блѣдно, блѣдно до отвращенія, безсодержательно до острой ненависти къ себѣ!

Чувствовалъ, какъ я опускаюсь, дѣлаюсь такимъ маленькимъ и ничтожнымъ — кажется, если кто нибудь сейчасъ войдетъ въ мою избенку, я ему покажусь жалкимъ до слезъ. Потомъ отрывался отъ стола и тащился къ постели.

Въ это время я уже не зябъ и моя обычная одежда—былъ бѣлый халатъ. Онъ болтался на мнѣ, какъ на палкѣ,—до такой степени мнѣ казалось,—это вызывало у меня приливъ ярости.

Я брезгливо въ это время ненавидѣлъ себя, свое тѣло, а особенно ноги: хотѣлось бить ихъ кулаками за то, что они у

меня высохли, за то, что колѣна безобразно изуродованы ревматическими отложеніями.

И ложился на постель со словами:

— Эхъ ты... горе писатель! *)

IV.

И еще двѣ попытки: написалъ два разсказа и посылалъ въ „Русское Богатство“ и „Журналъ для всѣхъ“.

Въ обѣ редакціи писалъ одно и тоже: „Посылаю разсказъ только для того, чтобы имѣть отъ компетентнаго лица совѣтъ: продолжать писать мнѣ или нѣтъ? Нужно щадить человѣка тамъ, гдѣ это цѣлесообразно. Если моя вещь заслуживаетъ рѣзкаго отзыва—не стѣсняйтесь: за это я могу быть только благодаренъ. Мнѣ нужна увѣренность, что я пишу не безполезно, или сознаніе, что моя работа—работа Сизифа“.

Отвѣты изъ обоихъ журналовъ получились лаконическія: „Ваша вещь не подходитъ“.

Я недоумѣвалъ: что же тамъ за люди?

Кажется ясно, какъ дважды два, чего я прошу.

Я мучился. Съ жадностью накинулся на литературу, изъ которой можно было бы уяснить себѣ, что же такое въ сущности литературный міръ?

Я слѣпо вѣрилъ печатному слову и до этого—все, что мнѣ попадалось въ это время,—все убѣждало меня, что печатное слово для тѣхъ, кто пишетъ, „Святая-святыхъ“.**)

Да и не можетъ быть иначе: вѣдь, какая великая отвѣтственность?!

Я жадно читалъ и думалъ, что Душа Искусства не можетъ, какъ Христосъ, потерпѣть въ храмѣ торгашей и фарисеевъ.

Я вполнѣ повѣрилъ священнику Г. Петрову, что „братья—писатели—это люди отмѣченные перстомъ Божьимъ“.

Братья—писатели... Боже мой, какой представлялся чудный міръ: писатель—это огромное милосердіе, это великая чуткость,—явись къ нему, взглянетъ на тебя и вся твоя душа будетъ у него на виду, какъ на ладони.

Я вздыхалъ: да, только тамъ, въ мірѣ этихъ людей, жизнь, ничѣмъ не загаженная низменнымъ, настоящая жизнь!

Все чаще и настойчивѣе преслѣдовала мысль: надо отнестись къ какому нибудь крупному писателю—онъ рѣшитъ мою судьбу.

---

*) Такъ, вѣроятно, только въ одной Россіи платятся за свои первые, неувѣренные шаги. Ни гдѣ такъ *человѣчно* не умѣютъ поддержать, какъ у насъ.

**) Если бы тогда мнѣ кто нибудь сказалъ, что въ литературѣ не малое болото грубой лести, подхалимства, взаимной рекламы друзей-пріятелей—я отъ такого человѣка отвернулся бы съ презрѣніемъ. Писатель, журналистъ—это для меня были синонимы уважающаго себя благородства.

Но къ кому? Мечталось о Горькомъ: родной писатель! Но не зналъ, куда ему написать.

Къ Толстому? Страшно: какъ ни добръ казался по своимъ произведеніямъ—а „графъ“ пугалъ.

Случайность рѣшила, что прежде обратился къ Толстому.

Не помню имени мыслеблуда, который довелъ до всеобщаго свѣденія, что Толстой до того „великій гуманнистъ“—щадитъ даже мышей.

— „Левъ Николаевичъ работаетъ. Съ нимъ его секретарь, Гусевъ. Разставлены мышеловки. *Хлопъ! Хлопъ!*—Сколько,—спрашиваетъ Толстой.—Теперь ужъ набралось къ десятку,—отвѣчаетъ Гусевъ.—Чья очередь?—Ваша“.

Толстой бросаетъ работу, одѣвается, забираетъ мышей и несетъ ихъ въ лѣсъ: гуляйте, молъ, тутъ, милыя!

А лѣсъ не близко: до него восемь верстъ; иногда приходится относить въ зимнее время по ночамъ.

Прочиталъ я все это—и какъ тутъ не рѣшить: пошлю ему?!

Дабы не отнимать много времени у великаго писателя, я ему послалъ два очень маленькихъ разсказа; въ письмѣ я обрисовалъ свое горькое положеніе и заключилъ его: „Къ моимъ физическимъ мукамъ прибавились душевныя: я захваченъ силой, съ которой не въ состояніи бороться. Я мучаю себя, можетъ быть, совершенно безплодно и очень прошу: просмотрите мои разсказы и, будьте добры, отвѣтить двумя словами: „Брось писать“ или „Пиши еще“.

Мнѣ отвѣтили черезъ нѣсколько дней.

„Мой отецъ, Левъ Николаевичъ, извиняется, что за недостаткомъ времени не можетъ исполнить Вашей просьбы. Готовая къ услугамъ Татьяна Сухотина“.

Это меня ошеломило до того: я запилъ.

Сидѣлъ въ своей избенкѣ за бутылкой водки и спрашивалъ себя:

— Человѣкъ и мыши? Какъ совмѣстить? а? На мышей есть время, на человѣка нѣтъ?

А на слѣдующій день у меня, конечно, болѣла голова и ревматизмъ показалъ себя съ удвоенной силой.

Въ подавленномъ состояніи я написалъ Толстому письмо. Говорилъ, что очень сожалѣю, что у него не оказалось времени на просмотръ моихъ вещей, а въ заключеніе спрашивалъ: беру человѣка, для котораго возможна еще жизнь, возможенъ трудъ, но нѣтъ собственныхъ средствъ подняться къ этому—долженъ-ли такой человѣкъ умирать или вправѣ надѣятся на помощь людей?

До такой степени я вдругъ утратилъ увѣренность въ неотъемлемости у человѣка права на его существованіе!

Послалъ я съ чувствомъ: отвѣта не жди.

Вѣрно: отвѣта я не получилъ, но прождалъ его около мѣсяца. Ежедневно я говорилъ себѣ: запей горькую, безплодно ожидаешь.

И ежедневно переживалъ жуть, въ которую боялся заглядывать.

Коломъ въ головѣ стояли вопросы:

— Развѣ я прошу чего нибудь особеннаго? Не многаго прошу,—а не могъ добиться ни отъ редакцій, ни отъ прославленнаго писателя. Гдѣ же проповѣдуемая любовь къ ближнему?

Во мнѣ протестовала *какая то великая правда живого существа*, въ которую я боялся вдумываться, уяснять себѣ ее: чувствовалъ я, что если пошатнется эта правда—*жизнь моя и жизнь вообще безъ этой правды будетъ ужасающей безсмыслицей*.

Безъ этой правды не къ чему жить и не станешь жить.

И мое страстное ожиданіе письма отъ Толстого, то во что я не вѣрилъ, но что ждалъ и говорилъ себѣ: „Не надо дурно думать о человѣкѣ, пока въ этомъ вполнѣ не убѣжденъ“—было смутно связано съ этой правдой. Мнѣ казалось, что я, можетъ быть, такой дикарь, который не знаетъ какого-то важнаго соціальнаго закона. И напиши на мой вопросъ мнѣ Толстой, что „такой человѣкъ не въ правѣ разсчитывать на помощь“—до такой степени была велика моя подавленность, что я ему повѣрилъ бы безусловно. Толстой промолчалъ. Заданный ему вопросъ мнѣ пришлось рѣшать самому.

Я его рѣшилъ: запилъ!

То, что обострялся ревматизмъ и усиливались боли, стало для меня второстепеннымъ. Главное—чаще и больше нужно пить. Ограниченныя собственныя средства удовлетворенія не давали и я сталъ искать собутыльниковъ. Въ этомъ недостатка не было. Я шелъ по линіи наименьшаго сопротивленія — легче было убивать себя физически, а когда появлялся протестъ нравственнаго Я, что становилась все рѣже и рѣже, я запирался въ своей избенкѣ съ бутылкой водки.

— Куда лѣзть? И зачѣмъ? Ты пытался просить—ничего; попробуй кричать—будетъ тоже самое. Никто не пойметъ. Ни кто не услышитъ. Все, что сказано прекраснаго въ мірѣ за человѣка—ложь, самоукрашеніе. Что ты—не видѣлъ жизнь? Если все еще продолжалъ обманываться на другихъ, разубѣди себя на себѣ. Фактъ для тебя только тотъ, что весь міръ для тебя въ твоихъ четырехъ стѣнахъ, а остальное—міръ прекрасныхъ иллюзій. Обжегся на этихъ иллюзіяхъ, значитъ, молчи! Оселъ! Надо понять, если Евангеліе не перевернуло жизни, кто можетъ перевернуть? Почти двѣ тысячи лѣтъ пережевываютъ на всѣ лады его истины. На ученіи Великаго Учителя растутъ, какъ грибы, учителя жизни, но отъ житницъ своихъ не откажутся: усердно сѣютъ и жнутъ на нивѣ Великаго ученія. Оселъ! Прими за истину, что всѣ истины для тебя—небесные звуки, свѣтлыя фикціи. Молчи, какъ молчатъ твои неизбѣжныя, безгласныя спутницы—тоска и муки. Молчи и ни куда не лѣзь, когда понимаешь такія чудовищныя противорѣчія. Если ты попадешь въ тюрьму, какъ политическій дѣятель,—за тебя общественный протестъ: „*Насъ возвышающій обманъ!..*“ Люди вообще протестуютъ противъ того, противъ чего безсильны, гдѣ не могутъ помочь. Любятъ въ протестѣ звукъ, ибо онъ ничего не стоитъ. Но, если у тебя тюрьма духа и тѣла въ твоихъ четырехъ стѣнахъ — протестуй самъ и никто не услышитъ. Тебѣ позволятъ... свободно позволятъ умирать! Молчи и ни куда не лѣзь.

Теперь не передашь всей горечи, что приходила въ голову тогда.

Я пилъ и пьянѣя,—тупѣлъ. Бутылка мнѣ начинала казаться—мудрымъ блескомъ свѣтится стекло и ходъ моихъ мыслей вѣдомъ ему—но такъ оно спокойно, такъ безстрастно, точно ему это давно все извѣстно, надоѣло.

Мнѣ казалось это немного обидно, но добродушно я говорилъ:

— Понимаю тебя, посудина. Въ этомъ родѣ для тебя ничего не ново. Все слышала милліоны разъ!

И бутылка такъ ласково, покорно и многозначительно поглядывала на меня, точно отвѣчала:

— Что зря болтаешь? Кромѣ скуки отъ этого ничего. Пей и все тутъ.

До дна я бутылки никогда осилить не могъ.

Въ блаженномъ состояніи забвенія и физическаго недуга и замирающей мысли, я долго слипающимися глазами смотрѣлъ на дно бутылки и, упиваясь тѣмъ, что проснусь когда—есть еще что выпить, бесѣдовалъ съ бутылкой.

Посижу, подумаю—чѣмъ то смутнымъ, далекимъ, и до смѣшного скучнымъ кажется собственная жизнь,—дотронусь до бутылки и говорю:

— Что видишь, что слышишь—хранишь, какъ могила. Это хорошо.

Чѣмъ именно „хорошо“ — думаю надъ этимъ упорно, но опьянѣвшему сознанію это не подъ силу: кажется, что въ этомъ необыкновенная глубина.

Такъ повторяю нѣсколько разъ и, какъ добираюсь до постели—этого послѣ не помнилъ.

V.

Быстро потекли дни, недѣли и мѣсяца.

И не время уже властвовало надо мной, а я надъ временемъ. Съ гордымъ злорадствомъ я смѣялся надъ силой времени:

— Ты для меня остановилось. Ты сметешь меня съ лица земли, какъ сметаешь все и всѣхъ—но ты для меня остановилось.

То, что дни мои идутъ безъ смысла, то, что мнѣ время не дорого, то, что мнѣ не зачѣмъ заглядывать впередъ—все это создавало мнѣ понятіе абсолютно свободнаго отъ всего человѣка.

Иногда я съ утра до ночи бродилъ по знакомымъ.

И всюду жалобы на время.

Однихъ давитъ скукой, однообразіемъ, тѣмъ, что жизнь не такъ сложилась, какъ хотѣлось, у другихъ все что-то не додѣлано, недостигнуто, „*а время мчится*", третьи и на скуку не жаловались, и достигать ничего не хотѣли—жили и трепетали, что за спиной времени идетъ и прячется смерть.

— Какъ страшно: день прожитъ—къ смерти ближе; какъ глупо: живешь и не знаешь, когда и отчего умрешь,—особенно часто жаловалась мнѣ одна дама.

Я наблюдалъ всѣхъ этихъ рабовъ времени, думалъ, кто въ мірѣ не рабъ его, и сознаніе, что я освобождаюсь отъ его власти, было мнѣ пріятно.

Пришла мнѣ въ голову однажды мысль, что и по знакомымъ я таскаюсь и пью затѣмъ, чтобы обмануть себя:

— Попробуй-ка опять побыть одинъ и безъ бутылки—время покажетъ себя.

Я засѣлъ недѣли на три дома и не пилъ.

Было уже трудно, водка становилась потребностью организма, но я выдержалъ.

Пусто и холодно было на душѣ. Одиночество не томило, а то, что не ждешь и не хочешь отъ жизни ничего, создавало ощущеніе необычайной легкости.

Вырабатывалась филисофія отрицанія жизни.

Я все ставилъ подъ угломъ, что если не можешь жить слѣпо, то какое бы завидное положеніе въ жизни не имѣлъ, ты все таки очень дорого заплатишь за свою жизнь.

Если ты не безъ совѣсти, если чувствуешь, что право на жизнь другого нужно уважать не меньше, чѣмъ свое — отравятся радости твои внутреннимъ зрѣніемъ твоимъ.

Я видѣлъ въ жизни, что она не что иное, какъ подвигъ и спрашивалъ себя: во имя чего мнѣ его принимать?

И отвѣта не было. Ибо пошатнулась во мнѣ *великая правда живого существа* *) и разумъ пересталъ вѣрить въ цѣлесообразность прекраснаго: съ холоднымъ злорадствомъ онъ разбивалъ старыя цѣнности и торжествовалъ, что на мѣстѣ былыхъ и ложныхъ самообмановъ и самоукрашеній воцаряется гордая, неуязвимая иронія надъ жизнью всего существующаго.

Когда меня спрашивали, какъ я живу, что переживаю отъ наличности хроническаго недуга—я усмѣхался:

— Живу. А переживать, пожалуй, ничего не переживаю.

— Не можетъ быть. Въ такія молодыя лѣта и такъ страдать.. Думаете же вы, какъ отъ болѣзни избавиться?

— Не думаю.

Мнѣ не вѣрили. Я не договаривалъ, что живу, пока не захочу умереть.

---

*) Позже, когда я вполнѣ уяснилъ себѣ эту правду—не могу не крикнуть: духа не угашайте!

Была спокойная, возвышающая себя радость въ томъ, что все мое я—въ моемъ я. Внутренее самоотреченіе достигло высоты, что въ каждый моментъ я совершенно спокойно могъ рѣшить свое „не быть", но отъ этого удерживало острое и темное любопытство: чудилось, что такое неестественное для живого существа безразличіе къ жизни и ея законамъ таитъ за собою какую-то страшную пустоту.

И жилъ я только ради этого любопытства.

И вдругъ—рѣзкая перемѣна. Я столкнулся съ дѣвушкой, которая дала мнѣ понять, что моя сила не сила: отрицаніе жизни—безсиліе. Что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи. Я понялъ и вновь повѣрилъ въ старыя цѣнности свято и наивно, какъ ребенокъ.

Бросилъ пить и усердно принялся писать, не посылая своихъ вещей въ редакціи: не думалъ ужъ отъ нихъ получить того, что мнѣ было нужно.

Я писалъ, а надо мной глумились. „Навѣщали" братья.

Одинъ смотрѣлъ, если заставалъ меня за писаніемъ, на мои рукописи и злорадно говорилъ:

— Все еще пишешь? Деньги на бумагу переводишь? Уменъ очень! Люди съ образованіемъ за 25 рублей въ мѣсяцъ служутъ, Христа ради просятся,—а писать не лѣзутъ. Кнутъ бы на тебя, чортъ тебя возьми, хорошій! А то, что тебѣ? Живешь, жрешь готовый хлѣбъ. Работать надо. Тогда дурь въ голову не полѣзетъ.

Онъ видѣлъ мои обезображенныя ревматизмомъ руки и ноги, всю безпомощность въ передвиженіи—и не вѣрилъ въ то, что я не могу работать:

— Притворяется. Лѣнтяй — и больше ничего. Ходить не можетъ? Вретъ! Ожечь хорошенько кнутомъ: всю боль забудетъ, побѣжитъ, сволочь хромая!

Другой „братецъ" вѣрилъ, что я дѣйствительно боленъ и убѣждалъ:

— Что ты здѣсь лежишь? Шелъ бы ты въ богадѣльню. Кромѣ, какъ на казенный хлѣбъ, никуда не годишься.

Я въ богадѣльню идти не желалъ. Тогда они однажды вмѣсто меня получили съ квартирантовъ деньги и вернули мнѣ ихъ, когда я имъ пригрозилъ судомъ. Довести до суда то, что брата-калѣку хотятъ вышвырнуть на улицу, они бы не постѣснялись. Они посовѣтовались съ компетентными людьми и, когда имъ сказали, что при наличности семи наслѣдниковъ на домъ, на всѣ квартирныя деньги они не имѣютъ права, что каждый изъ нихъ можетъ получить на свою долю только 1 рубль 71 коп.—изъ за такой суммы они рѣшили скандала не поднимать.

Одинъ, впрочемъ, тотъ который не переваривалъ мысли о моемъ писательствѣ, не прочь былъ и отъ этихъ денегъ.

Съ какой стати онъ будетъ жрать мою долю? Рубль, семьдесять одна копѣйка тоже не щепки. Даромъ мнѣ ихъ никто не дастъ.

Другой убѣдилъ:
— Пусть его. Какъ то неловко. Самъ посуди: мы съ тобой люди здоровые, зарабатываемъ больше ста рублей въ мѣсяцъ. Не стоитъ судиться. Какъ ни какъ, а все таки братъ, не чужой. Отъ мирового и то будетъ совѣстно и скандалъ на весь городъ. Не стоитъ.

Они до суда не довели, но и примириться съ тѣмъ, что я буду пользоватся квартирными деньгами—не могли.

То по одному, то оба вмѣстѣ приходили и, то мягко убѣждали.

— Продадимъ домъ? а? Что ты такъ лежишь? Тогда у тебя будутъ деньги полечиться. Вылечишься работать будешь, человѣкомъ опять станешь.

То грозили:
А, не соглашаешься? Смотри: выкинемъ изъ дому и больше ничего. Домъ ремонта требуетъ, а ты его прожираешь. Что же мы получимъ съ него, когда онъ совсѣмъ развалится?

Когда я скитался по городамъ и весямъ Руси—деньги они получали, но ремонта не дѣлали.

Они, наконецъ, обѣщали:
— На насъ говоришь, что мы негодяи—самъ, негодяй. Чего упираешься? Продадимъ домъ—получай свою долю, мы тебѣ по сотнѣ дадимъ: на, лечись! Будь человѣкомъ и къ тебѣ по человѣчески отнесутся.

Я смѣялся:
— Сотенъ отъ васъ не хочу: плакать о нихъ будете. Дайте мнѣ лучше сейчасъ по рублю.

По рублю они не давали, а непремѣнно хотѣли дать по сотнѣ... когда будетъ проданъ домъ!

Потомъ и о „сотняхъ" замолчали, когда я предложилъ подтвердить документами, что съ доли каждаго изъ этихъ „братьевъ" я могу получить по сто рублей, но съ продажей дома не отставали.

Я не соглашался—они приходили въ ярость. Пошлость нагло торжествовала подъ моею безпомощностью.

— Мы дураки,—а ты уменъ. Мы тысячи сумѣли нажить и еще наживемъ, а ты что нажилъ? Добродяжился по бѣлу свѣту то, а теперь издыхай. *)

Другой былъ болѣе радикаленъ. Онъ совершенно не уяснялъ себѣ, что такое „соціалистъ" и всякаго человѣка чуточку выше его сознанія, не соглашающагося съ его человѣконенавистническими взглядами на жизнь, причислялъ къ сонму соціалистовъ.

Я былъ у него тоже въ числѣ таковыхъ. Съ дикой злобой онъ мнѣ преподносилъ:

*) И этотъ же самый братъ на праздники и на свои имянины, или на имянины жены, старался затащить меня къ себѣ: чтобъ я развлекъ его гостей, какъ умный человѣкъ. Любителей поболтать такъ и интриговалъ: «Это что? Поговорите-ка съ моимъ братсмъ! Умная голова, да жаль: больной».

— Издыхай. Издыхай! Не помогать такимъ надо, а вѣшать!

Приводило его въ ярость такъ же и то, что я у него никогда ничего не просилъ.

— Гордъ, сволочь? Брату не хочешь поклониться?

Я говорилъ, что глупо кланятся тому, кто все равно ничего не дастъ.

— Это вѣрно: собакѣ выброшу, а тебѣ не дамъ. Но врешь: придешь, калѣка, когда нибудь и поклонишься. На колѣняхъ будешь ползать. Врешь, когда нибудь, придешь, явишься. А тогда то ужъ я тебѣ покажу!..

Этотъ „братъ" былъ не прочь бы со мной расправится кулаками, если бы его не удерживала боязнь во мнѣ „соціалиста". Оба они въ сущности боялись меня, какъ человѣка, которому ничего не стоитъ разрушить ихъ благополучіе, ввергнуть ихъ въ пучину несчастій.

— Ему что — ему нечего терять. Ему ничего не стоитъ подстроить такъ, что вмѣстѣ съ нимъ въ тюрьмѣ очутишься.

Я писалъ, я бросилъ пить, но все болѣе и болѣе становился не выносимъ окружающій меня ужасъ.

И, наконецъ, я не выдержалъ: я прочелъ въ газетахъ, что М. Горькій въ Нижнемъ и согласился продать домъ. Его продали дешевле, чѣмъ онъ стоилъ: торопились братья продать изъ боязни, какъ бы я не раздумалъ продавать.

Ѣхалъ я въ Нижній съ деньгами, на которые можно прожить не болѣе трехъ мѣсяцевъ; ѣхалъ съ тяжестью, что теперь нѣтъ уже угла, куда бы въ случаѣ неудачи у Горькаго, можно было вернутся доживать свой вѣкъ; ѣхалъ съ великими надеждами:

— Нѣтъ, если у меня окажется дарованіе, Горькій поддержитъ! Такой человѣкъ!.. Онъ искалъ проститутку, чтобы спасти ее *) Не можетъ онъ забыть свою жизнь; не можетъ забыть, что самого его поддержалъ Короленко.

Я ѣхалъ въ Нижній.

Ѣхалъ съ такими великими надеждами и любовью къ человѣку, котораго зналъ только еще, какъ писателя, составилъ себѣ представленіе о его личности по его книгамъ и, если бы въ это время мнѣ кто нибудь сказалъ: „Горькаго нѣтъ, Горькій скоропостижно умеръ"—я не могу представить себѣ, какъ бы это на мнѣ отразилось.

Онъ былъ единственнымъ человѣкомъ, свое спасеніе съ которымъ я связывалъ.

*) Разсказъ Горькаго: «Однажды осенью».

Братья-писатели, въ нашей судьбѣ,
Что то лежитъ роковое...

Некрасовъ.

VI.

По пріѣздѣ въ Нижній, я остановился въ гостинницѣ и далъ себѣ два дня отдыхъ.

Тихо и бездумно было на душѣ: испытывалъ огромное облегченіе, что та жизнь, которую я два года провлачилъ на родинѣ—уже оставлена позади и не повторится.

О томъ, что впереди—тоже не загадывалъ.

Найдетъ нужнымъ Горькій поддержать меня—благо мнѣ; нѣтъ,—значитъ,—надо умирать.

„Если убѣдился, что ни къ какому дѣлу жизни сталъ непригоденъ—имѣй мужество себя изъ жизни устранить".

И эта мысль была для меня такой аксіомой, надъ которой уже нечего задумываться.

На третій день я узналъ въ одномъ книжномъ магазинѣ адресъ Горькаго и отправился къ нему.

Путь былъ не близкій, а я рѣшилъ пойдти пѣшкомъ.

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—должно быть, не шибче черепахи. Обращалъ на себя своимъ шествіемъ вниманіе любопытныхъ. Это мнѣ было всегда непріятно: человѣка я въ этихъ взглядахъ не чувствовалъ, а тупое, эгоистичное животное, инстинктъ котораго трепещетъ только за себя: надо беречь себя, а не то и я отъ этого не застрахованъ.

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ—сколько во взглядахъ такихъ животныхъ обоего пола я прочиталъ низменныхъ утвержденій, что я не ревматикъ, а венерикъ, какую бездну отвращенія и брезгливости я видѣлъ по своему адресу отъ изящныхъ господъ и нарядныхъ дамъ.

На меня дѣйствовало не то, что меня клеймятъ не за совершонный грѣхъ, а то, что во всѣхъ этихъ взглядахъ зажигалось опасеніе, что надо быть поосторожнѣе и считаться съ „мѣрами предупрежденій".

— Если бы вы были и правы, то все таки какое вы, негодяи, имѣете право смотрѣть на меня такъ, если не нынче, такъ завтра вы имѣете всѣ шансы встать на положеніе, которое вы умѣете такъ великолѣпно обдавать отвращеніемъ и брезгливостью? Какое право, я васъ спрашиваю? — такъ многихъ и многихъ меня порывало спросить въ началѣ своей болѣзни, потомъ такіе порывы улеглись—было только непріятно и стыдно смотрѣть на тѣхъ, кто смотритъ на меня.

И безусловно человѣчнѣе была послѣдняя категорія—рабочіе, и вся масса пришлаго изъ деревни и служащаго при городѣ мелкаго люда.

Откровенно бросали мнѣ прямо въ лицо:

— Вотъ это такъ здорово доходился!

— Что голубчикъ, получилъ?

— Эхъ, милый, теперь-то думаю, понимаешь, какъ „за мигъ свиданья, терпѣть страданья?.

Много было въ такой откровенности, добродушія и сочувствія, что вызывало у меня иногда благодарный смѣхъ, а то и словечко:

— Не ошибаешься.

Эти люди учитывали, что брезгать и презирать имъ не слѣдъ, когда съ ними можетъ быть тоже самое. Эти люди были умнѣе и человѣчнѣе изящныхъ господъ и дамъ!

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—были взгляды на меня, слышались нѣсколько разъ слова по моему адресу, но я отъ всего этаго былъ очень далекъ,

Шелъ я *къ большой душѣ* и до мелкихъ-ли душъ мнѣ?

Шелъ и думалъ, что повѣдую ему недавно пережитый смрадъ отрицанія жизни, что я скинулъ со своей души эту страшную пелену—не видѣть въ существованіи міра цѣлесообразности, что все мое Я теперь только въ томъ: слабъ и немощенъ я разумомъ, и свято увѣрую въ то, что ты мнѣ скажешь *большая душа*, чему научишь! Жизнь я принялъ, какъ подвигъ добровольный и радостный, крестъ жизни въ жизни счастьемъ нахожу нести,—благослови, *большая душа*, на пути указанныя тобою.

На 26 году жизни я впервые шелъ на великую исповѣдь—и жизнь для меня послѣ этой исповѣди или смерть—все это я отдалъ во власть духовника, облеченнаго въ Ризу Писателя. Но вотъ и конецъ. Дошелъ. Угловой домъ и при немъ такой садъ—я даже остановился: въ двухъ шагахъ отъ центра города и такое великолѣпіе. «Недурно Горькому творить въ такой обстановкѣ»!

У воротъ дома стоялъ какой то человѣкъ—на мой вопросъ, гдѣ квартира Горькаго, онъ указалъ мнѣ во дворъ на двухъэтажный флигель.

Отворила дверь горничная:

— Кого вамъ?

— Алексѣя Максимовича.

— Его сейчасъ нѣтъ.

— А когда будетъ?

— Не знаю. Онъ теперь за-границей, а когда пріѣдетъ—неизвѣстно.

Горничная, сильно хлопнувъ передъ моимъ носомъ дверью, давно уже исчезла, а я все еще стоялъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Тупо уперся въ дощечку на двери: „Дома нѣтъ"—и стою.

Какъ отошелъ, очутился на извозчикѣ, пріѣхалъ въ гостинницу—все изъ памяти уплыло.

Въ корридорѣ гостинницы поднесся слуга:

— Прикажете обѣдъ подать?

И попятился назадъ:

— Да вы совсѣмъ больны! Можетъ быть, доктора позвать? Я отклонилъ и обѣдъ и доктора:

— Ничего, пустяки. Нервы у меня пошаливаютъ. Полежу— и пройдетъ.

Легъ и пролежалъ весь день, всю ночь. Заснулъ только подъ утро. Слѣдующій день у меня ушелъ на переѣздъ изъ гостинницы въ комнату со столомъ: надо было экономить свой скудный денежный запасъ.

Двѣ недѣли я переживалъ состояніе растерянности. По цѣлымъ днямъ просиживалъ въ городскомъ саду, или на берегу Волги и думалъ:

— Какъ же мнѣ теперь быть?

Погода стояла плохая, холодная, рѣдкій день обходился безъ дождя. Ревматизмъ мучилъ меня безъ передышки—былъ постояннымъ напоминаніемъ моей безпомощности.

Острую жуть я переживалъ отъ мысли, что этотъ городъ, вѣроятно, будетъ для меня могилой.

Раздавленный неудачей, своимъ недугомъ, я глазами одинокаго затравленнаго существа смотрѣлъ на жизнь города—и ликъ этого огромнаго чудовища вселялъ въ меня то страхъ, то наполнялъ темными угрозами.

Съ большой завистью я наблюдалъ надъ босяками—здоровеннѣйшія, но оскотинѣвшія отъ наглости и лѣни, люди.

— Идіоты! Такіе здоровые лодыри и идіоты!

Я жадно выискивалъ въ бесѣдахъ съ ними: гдѣ же тотъ высокій интеллектъ, тотъ свободолюбивый духъ, духъ бунтарей не принимающихъ существующаго, словомъ все то, что далъ въ своихъ босякахъ Горькій?

Лично я видѣлъ, что это въ большинствѣ искусившіеся тунеядцы; многіе изъ нихъ любили „позы протеста“,—но жалки и лживы были въ моихъ глазахъ слова отброшенныхъ и отбросившихся отъ жизни людей, людей, которыхъ цѣлая армія!

И такъ, толкаясь по городу я однажды услышалъ: „Къ ярмаркѣ Горькій пріѣдетъ. Ярмарки не пропуститъ. А эту тѣмъ паче: Шаляпинъ прибудетъ!“

Я услышалъ это на улицѣ, потомъ дома отъ хозяйки, потомъ отъ нѣсколькихъ лицъ въ городскомъ саду—начиналъ разговоръ съ чего нибудь отдаленнаго и сводилъ на одно:

— Ну, а ваша знаменитость—Горькій, на ямаркѣ бываетъ?

У всѣхъ увѣренность:

— Ярмарки не пропуститъ. Гдѣ бы не былъ, а на ярмарку пріѣдетъ.

Я ожилъ. Ожилъ и безразсудно началъ тратить деньги: покупалъ книги.

Нельзя. Пріѣдетъ Горькій—встрѣтимся, а я всѣхъ его сочиненій не читалъ даже! Чего я знаю? Вотъ Леонидъ Андреевъ, Чириковъ, Купринъ, Чеховъ, все это товарищество „Знанія“— у меня ни объ одномъ опредѣленнаго представленія о его

физіономіи писателя! Надо больше читать. Надо хоть немного подготовиться.

Я подготовлялся: ускорялъ наступленіе еще болѣе горькихъ дней.

Я ожилъ, поднялся и передъ началомъ ярмарки вновь упалъ: справился уже въ домѣ Горькаго о его пріѣздѣ на ярмарку и получилъ отъ какой то дамы отвѣтъ, что въ этомъ году онъ наврядъ-ли будетъ въ Нижнемъ. Просилъ его адресъ и этого не дали:

— Сами не знаемъ.

Послѣдніи деньги были уже отданы хозяйкѣ.

Отправился я въ редакцію „Нижегородскаго Листка“. И когда въ первый разъ въ своей жизни узрилъ редактора—внезапно смутился. Совалъ ему двѣ тоненькія тетрадки, которыя мнѣ въ эти моменты показались жалкими до необычайносги и краснѣя, и запинаясь просилъ:

— Просмотрите, пожалуйста. И если подойдетъ—не откажите напечатать.

Отъ послѣдняго слова меня и въ жаръ и въ холодъ ударило: „Боже мой... напечатать?!“.

И глазами по сторонамъ покосилъ: вдругъ, кто нибудь услышитъ и... захохочетъ?!.

Привычнымъ, лѣниво-спокойнымъ и до оскорбленія небрежнымъ движеніемъ руки редакторъ взялъ мои тетради, раскрылъ одну изъ нихъ—зѣвнулъ и заявилъ:

— Почеркъ скверный. Трудно читать.

Я показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку:

— Не могу четко писать.

— А переписчики и пишущія машины на что?

— Простите, средствъ не имѣю. Положеніе мое...

Я хотѣлъ разсказать этому человѣку свое положеніе—но онъ вновь устало зѣвнулъ и оборвалъ:

— Да собственно, и читать то безполезно: матеріалу у меня пропасть.

Я еще заикнулся:

— Нельзя-ли сдѣлать исключеніе... положеніе безвыходное...

У него уже зазвучали раздраженныя нотки:

— Не могу. Не просите.

У меня вспыхнулъ порывъ: врешь, не камень же ты, если совѣсти твоей не коснусь, такъ, можетъ быть, сознаніемъ чуточку учтешь, что передъ тобой не вещь, не дерево.

Но взглянулъ я на холодное, на смертельно-скучающее и до безобразія уже жирѣющее лицо редактора, взглянулъ на его крупно-сложенную фигуру, облеченную въ синюю косоворотку— взялъ свои тетради и тихо побрелъ къ выходу, думая:

— Не на своемъ мѣстѣ сидишь и людей косовороткой обманываешь.

У выхода я обернулся. Редакторъ глядѣлъ на меня—на то, какъ я нелѣпо двигаю больными ногами и, на губахъ у него играла презрительная усмѣшка: „тоже, писатель... И какая только шваль въ редакцію не лѣзетъ!“

Черезъ часъ я былъ въ редакціи „Волгаря“.

Тутъ ужъ я не краснѣлъ, не запинался—я былъ, вѣроятно, похожъ на ребенка, у котораго разбиваютъ нѣчто для него дорогое, когда жаловался и просилъ:

— Вотъ, я только сейчасъ изъ редакціи „Нижегородскаго Листка“; знаете, это первая редакція, порогъ который я переступилъ—и я пораженъ... такое тамъ отношеніе... Даже не хотятъ смотрѣть. Можетъ быть, вы не откажете въ просмотрѣ?

Предо мной стоялъ франтоватый, выхоленный и юркій человѣчекъ и улыбался: *)

— Будьте увѣрены: мы просмотримъ, мы не откажемъ.

— Спасибо. Вотъ мои вещи. Просмотрите и, если подходящи, будьте человѣчны, не откажите помѣстить у себя.

Человѣчекъ улыбался:

— Не откажемъ, не откажемъ... Но... за плату?

Откровенно, довѣрчиво я смотрѣлъ этому человѣчку въ глаза, въ лицо; что то въ этомъ лицѣ и во взглядѣ уже остерегало меня, настораживало, чудилось что то безконечно далекое отъ тѣхъ прекрасныхъ образовъ, которые запечатлѣлись во мнѣ о служителяхъ печатнаго слова по книгамъ, **) но сразу не могъ сорваться съ принятаго тона:

— Да, хоть за маленькую. Я и такъ бы отдалъ, если бы... видите, я больной человѣкъ, въ этомъ городѣ совершенно одинокъ. Пріѣхалъ къ одному человѣку, а его не оказалось. Черезъ недѣлю, черезъ двѣ могу очутиться на улицѣ.

И я даже улыбнулся:

— Вообще, положеніе хуже губернаторскаго.

Зато человѣчекъ перестал улыбаться:

— Не могу, матеріалу въ запасѣ много.

Я былъ пораженъ: безъ платы не мѣшаетъ, а за плату — такъ запасъ матеріала великъ! И это сейчасъ же: безъ всякихъ переходовъ? Такъ беззастѣнчиво, такъ глупо?! А человѣчекъ выкинулъ трюкъ еще лучше:

— Я вамъ дамъ совѣтъ: посылайте свои разсказы въ одну газету; тамъ не возьмутъ—въ другую; въ другой тоже—такъ въ третью, и т. д. Такимъ образомъ, гдѣ нибудь да устроитесь.

Такимъ трюкомъ я на минуту былъ уже совершенно ошеломленъ: тупо глядѣлъ на редактора-издателя и сомнѣвался: я, можетъ быть, не такъ понялъ, можетъ быть, въ чемъ нибудь ослышался?

---

*) Это былъ издатель «Волгаря».

**) О такихъ милыхъ, чудесныхъ людяхъ я читалъ: «о восьмидесятникахъ»—и глупо думалъ, что ужъ кто-кто, а «семья служителей печатнаго слова» не идетъ назадъ: все впередъ и впередъ!

Потомъ опомнился. Голосъ у меня сталъ остро-звенящимъ:

— Спасибо за совѣтъ. Но позвольте вамъ замѣтить, что въ устахъ редактора газеты такой совѣтъ кажется мнѣ дикъ.

— Почему?

Онъ удивился совершенно искренно!

— Объяснять-ли? Сами не понимаете?

— Ей-Богу, не понимаю!

— Вы слышали, что я говорилъ?

— Великолѣпно.

— Такъ какъ же вы могли давать совѣтъ посылать куда-то человѣку, который вамъ предварительно объяснилъ, что черезъ недѣлю-двѣ у него не на что будетъ жить?

Онъ развелъ руками — съ такимъ изумительнымъ недоумѣніемъ, точно я высказалъ ему какой то верхъ нелѣпости. А потомъ пожалъ плечами:

— Мнѣ какое дѣло, что вамъ жить не на что. Я вамъ далъ совѣтъ, а остальное до меня не касается.

Я не далеко былъ отъ состоянія, когда взбѣшенный человѣкъ плачетъ, бьетъ кулаками объ столъ—но усиліемъ воли сдержался и сказалъ:

— Очень мило! Но я вамъ въ свою очередь тоже дамъ совѣтъ: бросьте со столбцовъ своей газеты вѣщать истины, бросьте до тѣхъ поръ, пока не научитесь одной: понимать жажду человѣка дышать, видѣть, жить, сознавать себя живой, одухотворенной единицей!

Редакторъ „Волгаря“ опѣшилъ; онъ моргалъ глазами такъ... лучше нельзя, было выразить дополненія къ его совѣту!

Очевидно, силился понять „истину“.

Потомъ опомнился и тихо прошипѣлъ:

— Я позову наборщиковъ и прикажу имъ отправить васъ въ полицію.

— Зовите! Отправляйте!

Онъ медлилъ. Я не боялся угрозы въ лицѣ наборщиковъ и полиціи, но побоялся приступа состоянія невмѣняемости: чтобы видѣлъ слезы твои такой человѣкъ?!

И огромнымъ напряженіемъ воли заставилъ себя выйдти изъ редакціи „Волгаря“.

Миновалъ одинъ домъ и присѣлъ на скамью у воротъ.

Улица плыла, прохожіе казались точками, голова кружилась до тупой мути отчаянія отъ словъ:

— Будьте человѣчны!.. Будьте человѣчны!..

Стоялъ предо мной и неотступно смотрѣлъ мнѣ въ душу великій ужасъ земли, позорное самопроклятіе человѣчества—поруганное и раздавленное право человѣка на жизнь.

У сколькихъ оно вырвало и вырветъ эти позорныя напоминанія: „Будьте человѣчны?!“

Сколько сердецъ разметали и размечутъ бисера передъ свиньями: „Будьте человѣчны?!“

VII.

Послѣ этого прошла недѣля, а затѣмъ—я еще потерпѣлъ фіаско.

Сидѣлъ въ городскомъ саду и слышалъ, какъ два гимназиста горячо говорили объ отношеніяхъ Евгенія Чирикова къ учащейся молодежи.

Очень ужъ чего нибудь утѣшительнаго для себя я въ этихъ разговорахъ не видѣлъ; все сводилось къ тому, что тамъ то Чириковъ сказалъ то-то учащейся молодежи; въ другомъ мѣстѣ тоже „то-то" и т. д.

Я жадно слушалъ: а не договорятся-ли до чего либо болѣе положительнаго для меня—до того, гдѣ бы г. Чириковъ проявилъ себя помимо „то-то" и на дѣлѣ.

До этого не договорились. Но все таки я узналъ отъ поклонниковъ Чирикова его адресъ и въ этотъ же день снесъ ему два разсказа.

Дома его не оказалось, но прислуга успокоила меня тѣмъ, что по болѣзни матери, которая находится въ домѣ, онъ съ дачи навѣдывается часто.

— Черезъ день, черезъ два обязательно бываетъ. Очень о больной матушкѣ заботится. *)

При разсказахъ я приложилъ письмо, гдѣ говорилъ и о своей болѣзни, и о полномъ неимѣніи средствъ къ жизни, и коротко заключилъ: „если найдете дарованіе, надѣюсь, окажите и поддержку".

Поддержитъ или нѣтъ—на этотъ счетъ не гадалъ: закрывалъ глаза на грядущее. Жилъ одной только увѣренностью: прочтетъ, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Я жилъ увѣренностью, но увы—очень не долго: на другой же день я получилъ свои разсказы, присланные съ дворникомъ, и при нихъ письмо супруги писателя.

„Мой мужъ, Евгеній Николаевичъ, уѣхалъ въ Самару провожать своего брата на войну. Да и вообще, онъ рукописей не читаетъ. Это дѣло редакцій".

Я прочелъ и задумался: невѣденіе-ли тутъ, или безсердечіе? Потомъ на минуту мелькнула злая мысль: „Чтобы вы запѣли, сударыня, если бы очутились на моемъ мѣстѣ и узнали, *какъ редакціи читаютъ рукописи?*"

Затѣмъ наступила апатія, безразличіе полное. Часовъ въ 7 вечера сынъ хозяйки потащилъ меня на берегъ Волги. Ѣдемъ въ трамваѣ. На одной изъ остановокъ вошелъ въ вагонъ господинъ съ книгой въ рукахъ. Вошелъ и скромно усѣлся въ уголокъ. Сидитъ и глазъ не поднимаетъ, но лицо живетъ тонкой игрой.

— Знаете, кто это?—спрашиваетъ меня сынъ хозяйки.

— Кто?

*) Родная ли матушка Чирикова или по женѣ—объ этомъ я не допытывался.

— Это,—Чириковъ. Писатель нашъ.

Гордо звучало это „нашъ".

— Вы ошибаетесь, — говорю я:— Я вотъ только сегодня утромъ получилъ письмо, гдѣ мнѣ пишутъ, что Чириковъ уѣхалъ въ Самару.

— Ну, вотъ: еще бы ошибится. Сколько лѣтъ его знаю.

Можетъ быть, г. Чириковъ не былъ виноватъ ни душой, ни тѣломъ: только что вернулся изъ Самары и не знаетъ, что ѣдетъ въ вагонѣ съ неудачникомъ, котораго бьютъ со всѣхъ сторонъ.

Можетъ быть, но уже побитый такъ чувствительно на первыхъ же шагахъ двумя редакціями, я, естественно, склоненъ былъ думать, что меня обманули: почему мнѣ прислуга не сказала, что онъ уѣхалъ въ Самару?

У меня кружилась голова: „Да, я сейчасъ подойду и спрошу: вы давали своей супругѣ право расписыватся за васъ, что „вообще, вы рукописей не читаете?" Вы давали такое право или нѣтъ?"

Я ожидалъ остановки трамвая. Идти во время быстраго хода на своихъ ходуляхъ—это значило бы рисковать пошатнуться и повалиться на какого нибудь пассажира.

Вотъ и остановка. Я всталъ. Но что это? Пока я всталъ — Чириковъ уже вышелъ изъ вагона и на моментъ остановился на тротуарѣ,—посмотрѣлъ въ одну сторону, въ другую, точно раздумывалъ, куда ему идти. А пока я вышелъ—онъ уже пошелъ. Минуты три я гнался за нимъ. Разъ даже окликнулъ: г. Чириковъ! Онъ не слышалъ и не мнѣ было угнаться за его быстрой, легкой походкой.

Вскорѣ онъ скрылся въ переулокъ. Я постоялъ-постоялъ и отправился домой.

Дома часа три старался избавится отъ нѣчто—и не могъ. Лежалъ, то на спинѣ, то на бокахъ, то, наконецъ, внизъ лицомъ, но не при одномъ изъ этихъ положеній не могъ отрѣшиться отъ образа: все мнѣ видѣлось лицо писателя, которое въ вагонѣ разыгрывало симфонію эллегичной грусти.

И думалось:

— Скромница! Сидитъ и не смотритъ: ручки на книгѣ сложены и глаза внизъ потуплены — барышня! Нечего смотрѣть, когда знаетъ, что всѣ на него смотрятъ: „*Нашъ писатель!*" Упивается, а эллегіей подчеркиваетъ: „смотрите, какъ мы недурны". Ахъ жизнь-жизнь: какая ты необъятная, чудовищная сцена!

Не суждено мнѣ было спать въ эту ночь.

Къ 12 часамъ я уже совсѣмъ расхлябился. Бѣдные, литературные генералы! Живутъ и не знаютъ, какъ имъ иногда попадаетъ отъ мелкихъ, литературныхъ сошекъ. Можетъ быть, г. Чириковъ въ инцидентѣ со мною чище агнца,— а я сѣлъ и закатилъ на бумагѣ такую истерику:

„Порываетъ дико выть, по звѣриному, проклинать—я молчу. Мнѣ кажется, что стоитъ дать вырваться изъ груди хоть одному звуку—вой и проклятья польются безъ удержу. Плакать? Не умѣю—нѣтъ слезъ. Молиться? Кажется, что не имѣешь въ себѣ такой вѣры, когда бы молитва не казалась ложью. О, этотъ видѣнный мною литературный генералъ! Онъ первый изъ того невѣдомаго мнѣ міра и мое страстное стремленіе хоть сквозь строй идти въ этотъ невѣдомый міръ, кажется мнѣ теперь смѣшнымъ. Лживая мысль, неужели ты меня еще обманешь, какъ хочешь обмануть сейчасъ, говоря, что по одному нельзя судить о всѣхъ. Ты лжешь: тотъ міръ, гдѣ есть одинъ недостойный, уже не святой міръ. Ты лжешь, говоря, что только литературный міръ-уголокъ, гдѣ можно дышать чистымъ, ничѣмъ неотравленнымъ воздухомъ! Душно: не хватаетъ благородства! Темно: меркнетъ свѣтъ. Больно, ибо было что то въ душѣ великое, а теперь оно медленно-медленно разлагается, уступая мѣсто пустотѣ. Мысль, ты лжешь — я съ ужасомъ чувствую, что когда это „что-то“ разложится совсѣмъ, въ душѣ окажется безумная пустота, съ которой жить немыслимо, чудовищно. О, не уподобляйте всей благодати свѣтлаго Божьяго міра мерзости запустѣнія, гдѣ одинокіе чувствуютъ себя, точно человѣкъ заблудившійся въ пустынѣ ночной и холодной!“

А потомъ я читалъ разсказы Чирикова и другихъ.

И то, что своихъ положительныхъ героевъ авторы такъ щедро надѣляютъ великодушіемъ своего Я—успокоенія я искалъ въ печатномъ словѣ и находилъ только горечь.

— Боже мой, какъ они на бумагѣ чутки, предусмотрительны, справедливы, а въ жизни... Вы рукописей, вообще, не читаете? да? Позвольте! Вы должны читать. Обязаны читать. Если вы рукописей не будете читать —всѣ ваши прекрасныя слова тусклы и противны, какъ стертыя, загаженныя монеты. Если вы человѣку навязываете сотни книжныхъ истинъ и не дадите ему одной — голодному хлѣба, утопающему его спасенія—онъ вправѣ думать, что вы его обманули и унизили. Онъ вправѣ васъ спросить: вы что же—учите, или только еще учитесь? *)

Я читалъ всю ночь напролетъ и бросилъ, когда наступающее утро горѣло въ зенитѣ своей красоты.

Я смотрѣлъ на розовѣющій воздухъ, на синѣющую даль: и словъ у этой дали не было, а звала къ чему то великому, прекрасному, какъ сама.

— Природа! Природа, когда человѣчество научится понимать твой языкъ?!

А въ памяти ворочалась „даль въ словахъ“, даль изъ стертыхъ и загаженныхъ монетъ—то туманная, наводящая на одно только

*) Проблема, которую нашъ литературный міръ, еще никогда, какъ слѣдуетъ, не думалъ рѣшать. Горькій, когда то коснулся этого—но такъ: походилъ «вокругъ-да около» и забылъ.

заключеніе, что человѣкъ и самъ то хорошо не видитъ того, о чемъ говоритъ, но хочетъ увѣрить другихъ, что это—красота, то жалко-безпомощная до того, куда и идти не стоитъ.

— А вѣдь, зовутъ. Зовутъ и нестѣсняются. Поднимите брошенные, затоптанные великіе завѣты Великаго Человѣка, ибо прекраснѣе Его вы ничего не сказали и не скажете, поднимите и примите ихъ полнотой совѣсти, цѣлиной души и, только съ ними идите въ даль, и только съ ними зовите за собою: безъ нихъ вы лжете и толчетесь на мѣстѣ!

VIII.

. . . блаженъ, кто ищетъ человѣка,
ибо онъ узритъ... чело-вѣка нашего.

Я былъ и раздавленъ, но „нѣчто“ во мнѣ все еще чего-то хотѣло и толкало меня на новые сюрпризы.

Написалъ я поэтессѣ, которая помѣщала свои стихи въ „Волгарѣ“ *).

Писалъ и думалъ: можетъ быть, женщина окажется почеловѣчнѣе.

Просилъ, не можетъ-ли она, какъ нибудь вызволить меня изъ бѣды. Поэтесса отозвалась.

Она писала мнѣ, что сама сдѣлать ничего не можетъ, но даетъ мнѣ совѣтъ сходить къ одному присяжному-повѣренному, который, „какъ человѣкъ—онъ очень добрый; другъ-пріятель съ однимъ крупнымъ издателемъ въ Нижнемъ; благодаря огромной практикѣ—богатъ; состоитъ сотрудникомъ мѣстныхъ газетъ“.

Въ заключеніе увѣренность: онъ васъ изъ бѣды выручитъ.

Милая женщина, не забывайте никогда, что иные мужчины „очень добры“ только къ хорошенькимъ женщинамъ, да еще съ плюсомъ, что такая женщина—поэтесса!

Къ четыремъ часамъ этого же дня я отправился „къ доброму человѣку“.

Адвокатъ былъ занятъ съ кліентомъ и мнѣ пришлось долго ждать.

У него—богатая пріемная. А я одѣтъ былъ далеко не богато, а посему „натасканная“ прислуга предложила мнѣ ожидать въ передней, гдѣ даже не имѣлось стула.

Переминаясь на больныхъ ногахъ я стоялъ, заглядывалъ въ роскошную обстановку пріемной и спрашивалъ себя: зачѣмъ я пришелъ сюда?

Какъ не соблазнительно былъ расписанъ поэтессой адвокатъ, но въ то, что онъ меня изъ бѣды выручитъ, я не вѣрилъ: послѣ описанныхъ неудачъ въ Нижнемъ у меня глубоко засѣло предчувствіе, что въ этомъ городѣ я ни отъ кого помощи не получу.

Хотѣлось уйдти—и не уходилъ. Потомъ понялъ. Глядѣлъ на обстановку и думалъ:

— Бейте, чортъ васъ возьми. Вотъ я стою—унижайте, а униженный посмотритъ: насколько вы упали и увидитъ—насколько

*) Къ сожалѣнію, забылъ ея литературный псевдонимъ.

онъ поднялся самъ. Я подожду. Нужно убѣдиться: оскотинѣлъ-ли хваленый человѣкъ отъ комфорта, или нѣтъ.

Наконецъ адвокатъ вышелъ и, проводивъ своего кліента, замѣтилъ меня:

— Чѣмъ могу служить?

— Я къ вамъ по дѣлу,—неопредѣленно началъ я.

Онъ меня любезно оборвалъ:

— Пожалуйте въ кабинетъ.

— Я вамъ и здѣсь поясню.

— Что вы? Развѣ здѣсь мѣсто? Меня, признаться, очень смутило, когда я засталъ васъ ожидающимъ меня въ передней: для этого у меня пріемная. На этотъ счетъ я прислугѣ сегодня же сдѣлаю внушеніе!.. Ну-съ, пожалуйте въ кабинетикъ: тамъ поуютнѣе.

Онъ меня мягко взялъ подъ руку и повелъ. На ходу спрашивалъ:

— Что у васъ съ ногами? Увѣчье?

Меня кольнуло: вотъ она изъ какого источника любезность-то!

— Нѣтъ, хроническій ревматизмъ.

— Гмъ... Печально, очень печально для васъ.

Кабинетикъ дѣйствительно былъ очень уютенъ, но на кабинетъ дѣлового человѣка походилъ мало: въ стремленіи ошарашить кліента обстановкой немного пересолили — кабинетъ забили чрезмѣрнымъ количествомъ мебели и различныхъ бездѣлушекъ.

Молча я подалъ адвокату письмо поэтессы.

Съ первыхъ же строкъ онъ улыбнулся, улыбнулся и я: должно быть, поэтесса изъ „хорошенькихъ“.

Онъ прочелъ и въ раздумьѣ бросилъ:

— Такъ... Но объясните, пожалуйста, чѣмъ могу помочь вамъ?

Я пояснилъ и протянулъ ему двѣ тонкихъ тетради.

— Чтожъ, давайте свои разсказы. Я просмотрю съ удовольствіемъ, а если для васъ что нибудь можно будетъ сдѣлать — сдѣлаю *съ превеликимъ удовольствіемъ!* *) Зайдите ко мнѣ черезъ недѣльку; тамъ видно будетъ, какъ мнѣ съ вами быть.

Я поблагодарилъ за участіе и отправился домой.

На другой день хозяйка напомнила мнѣ о платежѣ за комнату и столъ. Я попросилъ обождать. Томительно тянулась недѣля. Прошла. Пошелъ я къ адвокату въ сквернѣйшемъ состояніи духа: думалось, что этого господина я больше не увижу, а получу черезъ прислугу письмо: „Помочь, молъ, вамъ ничѣмъ не могу“.

Такъ и вышло. Отворяя дверь, прислуга заявила:

— Барина дома нѣтъ.

— А когда онъ будетъ?

*) Даже подчеркнулъ!

— Не знаю. Онъ уѣхалъ на дачу. А какъ ваша фамилія?

Я назвалъ.

— Погодите. Тамъ вамъ что то есть.

Ушла, вернулась черезъ минуту и вручила мнѣ письмо и мои разсказы.

У меня начали подкашиваться ноги. На площадкѣ лѣстницы стоялъ диванъ, съ трудомъ я дотащился до него, присѣлъ и, глазами страшной тоски, утратившей послѣднюю надежду на жизнь, смотрѣлъ на не заклеенный конвертъ и не видѣлъ, что онъ совсѣмъ адресованъ не на мое имя.

— Не удалось,-проносилось въ головѣ,-не удалось. Ты хитрилъ,а не удалось.

Давая читать адвокату письмо поэтессы—я принималъ въ разсчетъ, что не легко отказать просителю сразу, когда въ только что прочитанномъ письмѣ пишется, что ты „очень хорошій человѣкъ“ и т. д.

Но не упускалъ я изъ виду и того, что если люди не могутъ отказать лично, они вывернутся письменно: отсюда и были мои опасенія, что адвокатъ отъ меня отдѣлается письмомъ.

Я долго сидѣлъ. Я остро думалъ, а въ ушахъ звенѣло: надо умирать. Вотъ, ужъ и конецъ. Ѣхалъ къ Горькому, но увы, не поймалъ вѣтра въ полѣ.

Потомъ я всталъ—уже съ силой, съ подъемомъ:

— Чтожъ, если ужъ конецъ, лучше принять его съ мужествомъ. Разверни бумажку и посмотри, какъ люди ухитряются быть палачами: пальцемъ до тебя не коснутся и собственными руками заставятъ затянуть себѣ петлю на шею.

И тутъ только я замѣтилъ, что письмо не на мое имя: оно было на имя секретаря редакціи „Волгаря“.

Я позвонилъ и говорилъ той же самой прислугѣ:

— Вы ошиблись. Письмо не мнѣ.

Она не взяла.

— Ну, вотъ. Вамъ велѣно передать.

Тогда я вынулъ изъ конверта листокъ бумаги и прочелъ:

„Многоуважаемый, Николай Ивановичъ. Отъ подателя сего письма прошу принять его разсказы. Интересенъ разсказъ „Изобрѣтатель“, а въ особенности „Не отъ міра сего“. Оба разсказа вполнѣ достойны напечатанія. Авторъ ихъ — бѣдный, больной человѣкъ и намъ надо его и его дарованіе поддержать. Зная Ваше доброе сердце, надѣюсь, что Вы облегчите участь несчастнаго человѣка.

Остаюсь преданный Вамъ
А. В. Яворовскій“.

Что со мной сдѣлалось?! Я не вѣрилъ своимъ глазамъ: еще нѣсколько разъ перечиталъ и.. заплакалъ.

Это были въ моей жизни первыя слезы: слезы радости!

Безпомощный передъ призракомъ нужды, забитый физическимъ недугомъ, я не выдержалъ незнакомаго мнѣ до той поры чувства,

Всесоюзная БИБЛИОТЕКА имени В. И. ЛЕНИНА

что нашлись все таки люди, которые думаютъ обо мнѣ, хотятъ принять участіе въ моей судьбѣ: я не выдержалъ и заплакалъ.

Первыя слезы радости!

Съ ними, смахивая ихъ съ глазъ, я заковылялъ въ редакцію „Волгаря“ и во всю дорогу мучился стыдомъ за гадкое чувство, съ какимъ шелъ къ адвокату: вотъ видишь, вотъ видишь, какъ не хорошо относится съ недовѣріемъ къ человѣку, когда его не знаешь. Не забывай этого урока!

Около редакціи я немного поостылъ: припомнилъ стычку съ редакторомъ-издателемъ „Волгаря“.

Но еще разъ перечиталъ письмо, выхватилъ фразу: „Оба разсказа вполнѣ достойны напечатанія“ и рѣшилъ, что такъ увѣренно высказывающійся человѣкъ, вѣроятно, и въ самомъ дѣлѣ съ большимъ вліяніемъ.

— Такой какъ нибудь загладитъ.

Вошелъ. Передалъ секретарю письмо. Редактора, на мое счастье, на лицо не было. Прочиталъ секретарь, поглядѣлъ „на несчастнаго“ и пообѣщалъ:

— Постараюсь устроить. Зайдите черезъ недѣльку.

Недѣля у меня пролетѣла, какъ мигъ: съ утра до глубокой ночи писалъ. А ложился спать—не спалось. Волновала фраза адвоката: „надо намъ его и его дарованіе поддержать“.

Дарованіе!

Какой небесной музыкой звучало это слово для меня. Сколько пережито и на родинѣ и здѣсь, чтобы услышать это слово?!

Соблазнительныхъ плановъ я себѣ не строилъ; наоборотъ, внушалъ, что мнѣ предстоитъ много учиться, читать, упорно работать надъ собою.

И вѣрилъ, что возможность къ этому мнѣ дадутъ адвокатъ и его друзья.

Недѣля прошла. Сердце замирало, когда я шелъ въ редакцію. Пробовалъ себя успокаивать:

— Глупое. До чего ты напугано. Что можетъ особенно страшнаго случится теперь?

Томили меня темныя предчувствія, но, наивный человѣкъ, если мнѣ было сказано: „Постараюсь устроить“,—я уже вѣрилъ, что „постараются“.

Явился въ редакцію. За недѣлю отъ безсонницы и напряженія надъ работой я осунулся сильно. Секретарь это замѣтилъ

— Вы очень плохо выглядите.

Потомъ подалъ мнѣ мои разсказы и, тономъ извиненія, заявилъ:

— Не можемъ принять. Сейчасъ война, ярмарка началась, совершенно некуда втиснуть вашихъ вещей.

Онъ говорилъ еще что-то, но я уже его не слышалъ: постоялъ-постоялъ и, точно во снѣ, тихо пошелъ къ выходу.

Въ крайнемъ отупѣніи я добрался до дому. Не было ни мысли, ни какого либо опредѣленнаго чувства, кромѣ одного

желанія: лечь отъ страшной усталости. Но, какъ говорятъ, одной бѣды никогда не бываетъ съ человѣкомъ, такъ случилось и со мной.

Хозяйка не дала мнѣ даже довалится до постели:

— Я къ вамъ опять: деньжонокъ бы!

— Не имѣю,—отозвался я.

— А когда будутъ?

— Не знаю.

— Ну, такъ вы сегодня же поищите себѣ другую комнату. Вы человѣкъ больной, ненадежный. Чего съ васъ взять? У меня на ваше мѣсто есть надежный квартирантъ.

Тутъ только я, точно проснулся. Успокоилъ хозяйку, что въ долгу у ней не останусь и отправился къ Яворовскому.

Засталъ его дома. Первый разъ въ жизни приходилось такъ прямо просить и, пришибленнымъ голосомъ я высказался:

Въ редакціи насчетъ разсказовъ—отказъ. Хозяйка за столъ и комнату требуетъ деньги. У меня ничего нѣтъ.

Адвокатъ... вдругъ нахмурилъ брови и рѣзко началъ меня отчитывать:

— Знаете что, молодой человѣкъ? Когда я былъ студентомъ, я былъ тоже бѣденъ и пробивался мелкой работой въ журналахъ. Я пережилъ такое положеніе: мы съ женой ютились, валялись, какъ собаки, въ грязномъ и холодномъ углу! Да. Но... протекціи я все таки ни у кого не искалъ. Теперь я выбился изъ нищеты, живу, какъ человѣкъ, но... помогать вамъ все таки не могу. У насъ до чорта различныхъ филантропическихъ, благотворительныхъ учрежденій и почти во всѣхъ я состою членомъ. Это меня избавляетъ отъ повинности къ вамъ. Что вы мнѣ теперь скажете?

Я былъ пораженъ. „Очень добрый человѣкъ—и такъ сразу?!“

Я былъ пораженъ и во всѣ глаза смотрѣлъ на этого нагло-торжествующаго надъ совершенно беззащитнымъ человѣкомъ хама.

Вихремъ кружились мысли:

— Ты нуждался, но должно быть, *плохо нуждался,* когда будучи *человѣкомъ* *) забылъ о томъ, какъ нуждаются. Ты нуждался затѣмъ, чтобы отточить клыки и когти на нуждающихся? Большая ли честь такому *человѣку?* Ты имѣешь ярлыки члена многихъ благотворительныхъ обществъ? Пріобрѣлъ ихъ затѣмъ, чтобы имѣть репутацію ,,очень добраго человѣка‘‘—обманулъ всѣхъ и хочешь еще обмануть, что этими ярлыками избавленъ отъ повинности къ нуждающимся внѣ этихъ обществъ? Лжешь!

Вихремъ кружились мысли, но едва я произнесъ нѣсколько словъ, тихо, съ дрожью въ голосѣ: ,,Кому такъ говорите? Если

*) Какое понятіе «о [человѣкѣ?» Такое-ли понятіе «о человѣкѣ» адвокатъ примѣнялъ въ судѣ? Нижегородцамъ это должно быть знакомо.

бъ я былъ здоровъ... Вообразите себя на моемъ мѣстѣ",—какъ адвокатъ очевидно уже опомнился.

Онъ брезгливо поморщился и... заговорилъ много мягче:

— Да, ваше положеніе ужасное. Положительно не знаю, что съ вами дѣлать!

Помолчалъ и... вдругъ:

— Знаете что? Если строго разобраться: васъ нельзя будетъ счесть тунеядцемъ, когда вы будете жить уличной милостыней. Такому, какъ вы, всѣ подадутъ: сразу видать, что вы не алкоголикъ, а истинно несчастный, больной человѣкъ.

Я жутко похолодѣлъ. Я почувствовалъ, что никогда еще я неступалъ на такую высоту страданія—и глазами этого страданія я впился въ адвоката; я ощущалъ, что оттого, что мы смотримъ другъ на друга такъ упорно—между нами создается необычайная тяжесть и острота, что адвокатъ страшно злиться и будетъ злиться, пока я не оторву отъ него своего взгляда, и не могъ оторвать.

Я смотрѣлъ и медленно повторялъ:

— Нѣтъ, просить милостыни я не могу. Нѣтъ, просить милостыни я не могу.

Онъ пожалъ плечами и опустилъ внизъ глаза:

— Почему?

Опустилъ свои и я—съ огромнымъ облегченіемъ отъ необычайной тяжести и остроты; какая-то большая, темная, внутренняя сила, внезапно взбудораженная, вновь засыпала.

Мысленно я торжествовалъ: „Что, выкусилъ? а? Первый — очи долу? Значитъ твоя сила не сила"—вслухъ говорилъ:

— Вы спрашиваете: почему не могу милостыни просить? Объ этомъ лучше спросите себя.

Онъ вновь пожалъ плечами.

— Положеніе! Жить вамъ буквально нечѣмъ, но доживать свой вѣкъ человѣку, какъ-никакъ, а надо.

Почему „надо"? И если уже явилось признаніе за человѣкомъ его права на жизнь, то что за признаніе: „Какъ-никакъ?! *). Адвокатъ задумался. А я въ это время тоже кое о чемъ поразмыслилъ.

Счастье быть „въ уютномъ кабинетикѣ" я стало быть имѣлъ только одинъ разъ. Кабинетъ для кліентовъ, а не для нуждающихся; для тѣхъ—съ кого можно содрать, заработать, а для просителей—ихъ не надо пускать дальше порога своей квартиры: мы объяснялись буквально у двери!

Про пріемную адвокатъ тоже, должно быть, забылъ. То грозилъ прислугѣ строгимъ внушеніемъ, что въ передней у него

*) Вотъ, когда искренно высказываются такіе «прогрессивные», какъ г. Яворовскій! Кому онъ въ Нижнемъ не извѣстенъ, какъ «дѣятель?» Не помню точно—въ 1908 или 9 году изъ газетъ узналъ, что онъ высланъ изъ Нижняго. Не за благо человѣка такіе борятся, а изъ своихъ корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей, и—скатертью такимъ дорога!

не объясняются—но съ момента, когда узналъ, что это не кліентъ, а проситель, нисколько не смущается объясненіями въ передней.

Я не чувствовалъ униженія: я изучалъ незнакомый мнѣ міръ людей.

Адвокатъ наконецъ, надумался... быть человѣкомъ!

— Вотъ что! Не просить же вамъ и въ самомъ дѣлѣ милостыню на улицѣ, или спускаться до героевъ М. Горькаго и доживать съ ними свой вѣкъ „На днѣ". Мы сдѣлаемъ такъ: вы обождете еще съ недѣльку, а я поговорю со своими пріятелями. Одинъ я для васъ ничего не могу сдѣлать, ну, а сообща что нибудь да придумаемъ. Обождете?

Мнѣ ничего иного не оставалось, какъ покорно согласиться:

— Къ хозяйкѣ я безъ денегъ не въ силахъ явится, но если вы мнѣ дадите немного денегъ—я обожду.

— Гдѣ же вы обождете?

— Гдѣ нибудь. Теперь лѣто.

— Ну, ладно. Какъ нибудь промотаетесь. Во всякомъ случаѣ—это послѣднее ваше мытарство: вѣроятно, я устрою васъ письмоводителемъ къ одному пріятелю-натаріусу; если къ нему не удастся—хотя этого не думаю,—я соберу для васъ денегъ, на которые бы вы могли прожить нѣсколько мѣсяцевъ. А за это время, несомнѣнно, какое нибудь мѣсто вамъ разыщемъ.

Яворовскій вынулъ кошелекъ и, порывшись въ немъ, сунулъ мнѣ трехъ-рублевку.

— Ну, до свиданія. Съ Богомъ! Не унывайте. Вѣрьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ.

Онъ тепло пожималъ мнѣ руку, лицо его посвѣтлѣло—ледъ во мнѣ растаялъ, я благодарно смотрѣлъ на него и зато, что „пропасть мнѣ не дадутъ", и зато, что онъ мнѣ далъ возможность полюбоватся лицомъ — внезапно преображеннымъ въ лицо человѣка.

— Какими, должно быть, прекрасными людьми мы были въ это время!

Отъ адвоката я пошелъ въ городской садъ; забился въ самый его уединенный уголокъ и пробылъ въ немъ до тѣхъ поръ, пока сторожъ не попросилъ объ выходѣ.

Пошелъ въ трактиръ— закусилъ и сидѣлъ за чаемъ до закрытія.

Когда выбрался изъ него—шумная и оживленная улица днемъ и вечеромъ, была тиха и безлюдна.

Стало жутко. Я впервые почувствовалъ, что это за ужасъ—городъ ночью, когда онъ въ тишинѣ и безлюдьѣ—для человѣка не имѣющаго въ немъ крова.

Я прошелъ улицу, другую и присѣлъ въ концѣ ея на скамью. Ночной сторожъ минутъ десять смотрѣлъ на меня и попросилъ:

— Сидѣть въ ночное время у дома нельзя. Идите своей дорогой.

Я пошелъ. Еще двѣ улицы и вновь присѣлъ. И отсюда черезъ пять минутъ попросилъ городовой.

Я присѣлъ въ третьемъ мѣстѣ—тоже самое.

Я думалъ пойдти домой и не рѣшался: хозяйка меня ждетъ съ деньгами, а я съ чѣмъ приду?

Я видѣлъ ея тотъ скверно-подозрительный, жадный взглядъ, какимъ она смотрѣла на меня, когда я началъ жить въ долгъ, ту гаденькую боязнь, что ее хотятъ обмануть: „Нажить и съѣхать,“—и не въ силахъ былъ побороть отвращенія.

Ноги болѣли нестерпимо, усталость охватывала до изнеможенія, а меня гнали изъ улицы въ улицу.

Пять-десять минутъ присѣстъ — подозрительные взгляды: „зачѣмъ присѣлъ? Что ему надо? Это, должно быть, не спроста“ — и болѣе или менѣе вѣжливое:

— Сидѣть въ ночное время у дома нельзя. Идите своей дорогой.

Отъ совсѣмъ грубыхъ окриковъ меня спасалъ приличный костюмъ.

— Будьте вы честнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, но если хоть одну ночь вы вынуждены будете провести въ городѣ безъ ночлега, вы почувствуете, какъ въ васъ заподозрятъ вора, врага общественной безопасности не только грубый дворникъ, любой городовой, но стѣны изъ камня и дерева: будьте вы честнѣйшій человѣкъ въ мірѣ, человѣкъ изъ плоти и крови, человѣкъ съ частичкой божества — разума и души, — но васъ смертельно оскорбитъ не только человѣкъ, но каждый кирпичъ въ стѣнѣ, каждое бревно!

И я ходилъ, гонимый ходилъ, смертельно оскорбленный, до смерти униженный:

— Человѣкъ, до чего ты унизился?!

Но безмятежно спали „человѣки“ въ своихъ каменныхъ и деревянныхъ норахъ и берлогахъ, спали рабы своего господина изъ камня и дерева и не думали, что даже звѣри не унизили себя до охраны своихъ норъ и берлогъ по ночамъ.

Я ходилъ:

— Охраняйте и охраняйтесь! Шире и выше кладите города свои—совершайте всѣ виды преступленія надъ человѣкомъ по одиночкѣ и огуломъ—обществомъ, а человѣкъ платитъ и будетъ платить вамъ тоже всѣми видами преступленія. Охраняйте и охраняйтесь! Прячьтесь за стѣнами, тщательнѣй запирайтесь, трепещите за крѣпость стѣнъ своихъ и дверей, ибо, если не дано вамъ создать жизни съ незапертыми дверями по днямъ и ночамъ—значитъ, охраняйте и охраняйтесь! Небо, какъ, должно быть, тебѣ жалки рабы твои?! Они заперлись, затворились отъ воздуха, они закрылись кусками матерій отъ свѣта: они задыхаются, чахнутъ, но не отопрутся и оконъ не откроютъ. Небо, можетъ

быть, ты Небо даже никогда не увидишь великой красоты, когда они перестанутъ охранять и охранятся! Городъ. Городъ! Пойми и почувствуй весь свой ужасъ.

Свѣтало. Зашевелился трудовой муравейникъ. И тутъ только городъ позволилъ мнѣ отдохнуть. Я присѣлъ около грязной пекарни, локтями уперся въ колѣна, лицо скрылъ въ рукахъ— и такъ сидѣлъ, удерживаясь, чтобы не стонатъ отъ боли въ ногахъ.

Въ девять утра я поѣхалъ въ больницу. За одну ночь для меня стало ясно все безуміе того, чтобы провести недѣлю на улицѣ при моемъ состояніи здоровья. Я забылъ объ адвокатѣ, о томъ, что черезъ недѣлю конецъ моему мытарству, я забылъ о томъ, какъ и зачѣмъ я очутился въ этомъ городѣ—я помнилъ только о томъ, что у меня въ карманѣ есть паспортъ, въ моемъ тѣлѣ болѣзнь, въ городѣ больница.

Я записался и до своей очереди— сидѣлъ въ углу амбулаторіи и устало грезилъ, что скоро я буду отдыхать на больничной койкѣ, не буду видѣть скверно-подозрительныхъ, жадныхъ глазъ, никто мнѣ не напомнитъ о деньгахъ.

Врачъ меня не принялъ:

— Противъ такой застарѣлой формы ревматизма больничное леченіе безсильно.

— Мнѣ жить негдѣ,—сказалъ я:—Я на улицѣ.

Онъ развелъ руками:

— Это все равно. У насъ не пріютъ хроникамъ.

Гдѣ „пріютъ хрониковъ“ онъ не сказалъ, я не спросилъ—я поѣхалъ домой.

Хозяйка встрѣтила меня молчаливымъ вопросомъ.

Я покачалъ головой.

— Денегъ нѣтъ.

Съ злымъ отчаяніемъ она замахала руками:

— Какъ нѣтъ? Что же это такое? У меня даже на обѣдъ ни копѣйки. У меня дѣти останутся голодныя.

Я ее остановилъ. Я сказалъ ей, что черезъ недѣлю у меня будутъ деньги, мѣсто, что мнѣ это обѣщано адвокатомъ Яворовскимъ, и сунулъ ей оставшіися у меня два рубля:

— Вотъ вамъ на обѣдъ.

— Адвокатъ Яворовскій... Я слышала...

Что она слышала—я не хотѣлъ слушать. Я шелъ въ свою комнату, а она слѣдовала за мной и льстиво говорила:

— Я слышала... Это такой большой человѣкъ! Какой вы счастливый: такіе знакомые! А у меня вотъ нѣту. Сына бы вотъ куда получше устроить... За 35 рублей тянетъ...

Не раздѣваясь— прямо въ костюмѣ и даже въ пальто я повалился на постель.

Она пошла изъ моей комнаты,—такъ ласково журчала, какъ кошечка:

— Подгуляли? Ахъ, вы... вотъ ужъ никогда не ожидала Ну-ну, спите!

IX.

Спокойно я провелъ недѣлю. Читалъ. Писалъ новый разсказъ. Думая о пережитыхъ передрягахъ—думалъ о нихъ съ чувствомъ, когда уже что нибудь тяжелое прошло и повтореніе не ожидается:

— Да, что было—петля совсѣмъ. И вдругъ... Въ сущности, человѣку никогда не слѣдуетъ отчаиватся. Привалитъ сразу такое — о чемъ и не мечталъ. Вотъ ужъ никогда не думалъ: мѣсто письмоводителя у нотаріуса! Да вѣдь, это завей горе веревочкой!

Шелъ къ адвокату безъ малѣйшей тѣни сомнѣній.

Позвонилъ, и, когда дверь начала осторожно пріотворятся, но ничьего лица еще не было видно, спросилъ:

— Аполинарій Викентьевичъ, дома?

— Я самъ на лицо. Войдите.

Я шагнулъ черезъ порогъ. Предо мной стоялъ г. Яворовскій. Тепло я было потянулъ ему свою руку, но на полдорогѣ она остановилась и тяжело упала внизъ. Руки адвоката были спрятаны за спиной, на меня онъ смотрѣлъ холодно-злыми, насмѣшливыми глазами, а потомъ, рѣзкимъ и враждебнымъ тономъ, точно онъ видитъ человѣка впервые, но уже предубѣжденъ противъ визита этого человѣка—такимъ тономъ онъ остановилъ на полдорогѣ мою тепло къ нему потянувшуюся руку:

— Что скажете?

Если бы предо мной неожиданно раскрылась пропасть, въ которую я долженъ неминуемо упасть, я былъ бы менѣе ошеломленъ и изумленъ.

И первое мое движеніе было выйдти изъ его квартиры — выйдти молча,—но не хватало силъ: въ передней стоялъ стулъ, я опустился на него.

Онъ переспросилъ:

Что скажете?

Я молчалъ. Подавленный этой чудовищной игрой,—бросать человѣка къ двумъ острымъ крайностямъ,—то создавать ему иллюзіи на жизнь, то ставить лицомъ къ лицу со смертью, дѣлать это внезапно, безъ всякихъ переходовъ, точно съ однимъ звѣринымъ желаніемъ—упиваться муками человѣка отъ этихъ крайностей, — подавленный этой чудовищной игрой, я прежде хотѣлъ крикнуть:

— Что вы дѣлаете? Что вы дѣлаете?

И не могъ. Спазмы давили горло. Немного спустя, я уже только хотѣлъ сказать — тихо-тихо, безъ ненависти и негодованія, стономъ истерзанной души и всей силой ея убѣжденія:

— Что вы дѣлаете?

Не сказалъ и этого. А онъ медленно, рѣзко отчеканивая

каждое слово, точно рѣшилъ не давать мнѣ опомниться, началъ меня добивать: *)

— Сдѣлать я для васъ ничего не могъ? **) Потомъ, дарованіе у васъ есть—это несомнѣнно!—Но существовать литературнымъ трудомъ вы не будете. Вы гдѣ учились?

— Въ начальной школѣ.

— Это и видно. Безграмотность у васъ страшная. Читая ваши разсказы—я хохоталъ! Понимаете? До коликъ живота хохоталъ надъ тѣмъ, какъ у васъ разставлены знаки препинанія и на какихъ буквахъ сдѣланы переносы. Понимаете?

Немного помолчалъ:

— Позвольте! Это что такое у васъ?

Бортъ моего пальто отвернулся и, изъ бокового кармана торчала рукопись—только что конченный новый разсказъ, который я захватилъ съ собою къ Яворовскому.

Онъ потянулся ко мнѣ и вытащилъ изъ кармана рукопись.

— Ага, новое твореніе! Ну, вотъ, я вамъ сейчасъ наглядно покажу.

Онъ сталъ про себя читать, отмѣчая карандашомъ.

Это тянулось болѣе пяти минутъ. Я началъ собой овладѣвать.

— Что же передо мной за индивидъ? Какъ онъ могъ совмѣстить то, что было недѣлю назадъ и то, что творитъ сегодня? „Не унывайте. Вѣрьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ". Что это—лирика безпринципнаго языка, минутная вспышка сердца безъ соединенія съ совѣстью?

И вдругъ мнѣ стало понятно: изъ какого источника это „сверхмужество" адвоката, сверхмужество спрашивать человѣка послѣ такихъ завѣреній, послѣ того, какъ самъ же просилъ зайдти:

— Что скажете?

Адвокатъ хорошо пообѣдалъ: сытой и нагло-полупьяной мутью подернулись его глаза.

Онъ одѣтъ былъ въ широкую, ярко-пеструю рубашку изъ того ситца, что идетъ усиленно на азіатскіе рынки: родное то, какъ видно, не скроешь—сказывается!

Было въ этомъ человѣкѣ что то тяжелое, затаенно-угрюмое, вызывающее непріязнь, и тогда, когда я его видѣлъ во фракѣ, но фракъ и манеры, очевидно прочно усвоившіеся при ношеніи этого атрибута своего сословія, нѣсколько скрадывали непріязнь тѣмъ, что казали его безусловно культурнымъ питомцемъ. Но

---

*) Чего у него не хватило—ума или характера довести эту сцену до конца? Мнѣ кажется, чтобы быть послѣдовательнымъ, то г. Яворовскій, встрѣчая молчаніе на дважды заданный вопросъ, долженъ былъ бы указать мнѣ молча на дверь? Тогда, по моему, комедія, была бы блестяще, выполнена до конца!

**) Неужели товарищи всѣ таковы, какъ и самъ. Или... не хотятъ идти на удочку ловца, который любитъ быть добрымъ только за счетъ другихъ?!

стоило ему сбросить фракъ, заразиться сознаніемъ, что стѣсняться передъ какимъ то бывшимъ рабочимъ*) нечего, что свидѣтелей тутъ нѣтъ, а рабочій, что и гдѣ можетъ онъ сказать, чтобы набросить тѣнь на репутацію одного изъ блестящихъ адвокатовъ Нижняго?! Стоило ему придти къ сознанію, что тутъ можно быть „самимъ-собой", какъ отъ внѣшне культурнаго звѣря не осталось и слѣда.

Свободно изъ подъ рубашки вырисовывались могучая грудь, широкія плечи, а ея своеобразный рисунокъ былъ полнымъ дополненіемъ къ его лицу. Съ изсиня-темнымъ цвѣтомъ кожи, съ крупно-рѣзкими своею жестокостью чертами, съ широкимъ, плоскимъ подбородкомъ, что казало это лицо чуть-чуть не квадратнымъ — оно всею своею совокупностью теперь говорило о хищникѣ духа.

Для былыхъ временъ трудно было представить себѣ болѣе великолѣпную фигуру на: «Сарынь на кичку»!

Но увы, тѣ времена прошли, но и хищники не потерялись, а приспособились: одна изъ первыхъ скрипокъ общества, хамелеонъ судебныхъ залъ, защищающій не по совѣсти, а по разсчету, то обиженнаго, то насильника, политическая фигура—тоже, вѣроятно, изъ первыхъ скрипокъ „оппозиціи", членъ почти всѣхъ филантропическихъ и благотворительныхъ обществъ, другъ пріятель со всѣми, съ кѣмъ выгодно, а если и не выгодно, то нужно,—онъ этотъ, разбойникъ духа, всѣхъ обманулъ и обманываетъ, онъ сообразно времени осуществляетъ ловко „Сарынь на кичку"!, и онъ же пользуется положеніемъ „очень добраго человѣка", онъ лицо, о которомъ, можетъ быть, многія отзываются такъ, какъ отозвалась наивная поэтесса!

Да, пока этотъ „дѣлецъ" оскверняль мою рукопись, — я изучалъ его. Я уже овладѣлъ собою и холодно ожидалъ: а ну, что выкинешь еще?

Наконецъ, онъ оторвался отъ рукописи, всталъ и тыча пальцемъ въ помѣтки карандашомъ, со злымъ смѣхомъ говорилъ:

— Ну, посмотрите, что это за переносы! Боже мой, что это за переносы?! Что же вы сидите? Одеревенѣли? Я вамъ говорю: посмотрите, что у васъ за переносы.

Я свои „переносы" смотрѣть не желалъ. Онъ уже прямо крикнулъ:

— Вы знаете, что такое „подлежащія и сказуемыя"?

Я ему хотѣлъ сказать, что зналъ, но забылъ, что „переносы" не такое уже преступленіе изъ за котораго такъ можно орать, ибо оно легко поправимо, что не удивительно и забыть, если я до своего писательства въ теченіе 14 лѣтъ—въ годъ три-четыре раза держалъ перо въ рукахъ. Я хотѣлъ это сказать—и сказалъ нѣчто другое:

*) Объ этомъ онъ узналъ отъ меня же въ первый визитъ къ нему.

— Не знаю. Ничего я не знаю.

Я боялся умѣстнымъ возраженіемъ отнять у себя нужное: дать проявить себя этому индивиду до конца.

Онъ понизилъ тонъ, но прибавилъ апломба:

— Не знаете? Ну, вбейте себѣ разъ навсегда въ голову: писатель—есть учитель жизни. А учителемъ вы, конечно, быть не можете. Есть еще литераторы имѣющіе сильный изобразительный талантъ — у васъ нѣтъ и этого. У васъ маленькое-маленькое дарованьице, съ которымъ вы далеко не уѣдете. Ну, что вы на это скажете?

Что я ему могъ сказать?

Несчастный Алексѣй Кольцовъ — ты счастливъ тѣмъ, что имѣлъ другомъ такую великую душу, какъ Бѣлинскій; несчастный ты счастливъ тѣмъ, что не живешь въ наше время, не очутился на моемъ мѣстѣ: если мнѣ за переносы такъ влетѣло, то, что было бы тебѣ за твою орѳографію?!

Не дождавшись отвѣта, адвокатъ меня спросилъ:

— Гдѣ ваша родина?

Я отвѣтилъ.

— Что же вы теперь думаете дѣлать?

— Чего же мнѣ дѣлать?

Онъ съ раздраженіемъ отмахнулся рукой:

— Не понимаете, что ли? Ну, какъ думаете съ собой быть?

— Не знаю.

Этимъ я опять вызвалъ у него крикъ:

— „Не знаю". Отвѣтъ?! Кто же долженъ за васъ знать?

Торжествующій хамъ уже слишкомъ торжествовалъ, а въ моемъ распоряженіи противъ него ничего не имѣлось, кромѣ, какъ напомнить ему, чтобы онъ не забывался до глупости. И со смертельно-спокойной и холодной улыбкой я его спросилъ:

— Какъ можно спрашивать съ человѣка моего положенія, какъ онъ думаетъ съ собою быть? Есть положенія, когда человѣкъ за себя не можетъ думать,—нечего думать, когда ясно, что положеніе совершенно безвыходное.

— Гм...—адвокатъ подумалъ:—Гм. . этимъ вы хотите заставить, чтобы за васъ думали другіе?

Какъ можно „заставить" такого человѣка, а вообще, что если бы и можно, то я врагъ этого—на этотъ счетъ я рѣшилъ промолчать.

Онъ пожалъ плечами:

— Вы не такъ просты, какъ я раньше думалъ. Но, вотъ что... есть у васъ на родинѣ кто нибудь изъ родныхъ?

Разумѣя подъ родными не братьевъ, а человѣка, я отвѣтилъ, что нѣтъ.

— Сколько стоитъ проѣздъ до родины?

— Пять рублей съ копѣйками.

Яворовскій принесъ изъ пріемной въ переднюю бумагу, чернила и перо, присѣлъ къ столу, написалъ и прочелъ вслухъ.

Вслухъ! Даже и такой дешевенькой добротой не прочь похвастать: смотри, каковъ я!

„Многоуважаемый Θедоръ Θедоровичъ. Податель сего письма бѣдный, разбитый ревматизмомъ человѣкъ. Я хорошо зная его, свидѣтельствую: положеніе его безвыходное и отчаянное. Ему нужно *) выѣхать на родину. Помогите несчастному человѣку въ этомъ".

А затѣмъ поясненія:

— Это письмо отдадите чиновнику особыхъ порученій при губернаторѣ. **) Это мой хорошій пріятель. Онъ вамъ выдастъ билетъ на проѣздъ и полтора рубля денегъ казенныхъ на хлѣбъ. Такъ полагается. Съ голоду, значитъ въ дорогѣ не умрете!

Потомъ запечаталъ письмо и, вручая его мнѣ, пожелалъ:

— А теперь, до свиданія. Желаю вамъ всѣхъ благъ земныхъ!

Въ послѣдній разъ я взглянулъ на человѣка изъ незнакомаго мнѣ міра, гдѣ такъ дешево и безцеремонно могутъ отдѣлыватся „отъ несчастныхъ".

Я взглянулъ на него съ мыслью: чѣмъ продиктовано его письмо на родину? Жалостью-ли настолько, чтобы она ничего не стоила, или соображеніями, что „несчастный" можетъ полѣзть за помощью еще къ кому нибудь и разсказать, что доброта „очень добраго человѣка" должна быть подъ сомнѣніемъ?

Потомъ я молча кивнулъ головой и вышелъ изъ квартиры этой незабвенной для меня фигуры.

X.

Тихо-тихо—не шибче черепахи брелъ я до канцеляріи губернатора.

Тамъ мнѣ пояснили, что по желѣзной дорогѣ безплатнаго проѣзда до родины мнѣ не могутъ устроить, но по водному сообщенію—въ любой приволжскій городъ.

Я попросилъ до Сызрани: оттуда уже была надежда добратся до родины по желѣзной дорогѣ съ кѣмъ нибудь изъ желѣзнодорожныхъ служащихъ.

Чиновникъ приказалъ писцу написать о безплатномъ для меня проѣздѣ въ кассу одной пароходной компаніи—и спросилъ:

— А на пропитаніе въ дорогѣ у васъ есть?

*) Почему нужно? Зачѣмъ?

**) Θ. Θ. Сомовъ.

Я отвѣтилъ, что нѣтъ.

— Какъ это вы попали въ такое положеніе?

Я все разсказалъ чистосердечно.

Онъ выдалъ мнѣ полтора рубля казенныхъ:

— Маловато. Вѣдь, ѣхать почти три дня,

Я поблагодарилъ и заявилъ, что достаточно.

Онъ мнѣ далъ еще рубль отъ себя.

— А вы бы попросили у того, кто вамъ далъ письмо ко мнѣ. Слава Богу, онъ не бѣденъ.

Я отмахнулся рукой и, должно быть, мой жестъ сказалъ чиновнику многое: „хорошій пріятель" покачалъ головой!

Я еще разъ поблагодарилъ его и вышелъ изъ канцеляріи.

А черезъ два часа я уже ѣхалъ. Пользуясь билетомъ IV класса я сидѣлъ на кормѣ парохода на грудѣ канатовъ.

Пассажиры одного со мною класса—большинство мужички,—смотрѣли на меня полунасмѣшливо:

— Что, баринъ, прогорѣлъ?

— А, и вашему брату съ нашимъ братомъ приходится ѣзжать?

А сверху, съ палубы съ любопытствомъ поглядывали на меня пассажиры I и II класса: прилично одѣтый человѣкъ, а гдѣ ѣдетъ?!

За кого они меня принимали? Во всякомъ случаѣ не за того, чѣмъ я въ дѣйствительности былъ.

Я тоже поглядывалъ на нихъ. Холодно безразличныя лица, а все таки смотрятъ: мы любимъ унижать человѣка, пялить глаза на его несчастіе—и совсѣмъ не умѣемъ быть людьми!

Быстро плыли берега, то низкіе—съ яркой зеленью, то голыя, безъ растительности, — величественныя своей дикой неприступностью высокіе отвѣсы; день угасалъ въ ярко-розовыхъ краскахъ—непередаваемая красота ложилась на воду, на песчанныя отмели, небо опрокинулось въ Волгу голубой огромной чашей.

И палуба, и пассажиры моего класса—всѣ восхищались, но жаднѣе всѣхъ на всю эту благодать Божьяго міра смотрѣлъ я.

Впервые я ѣхалъ по Волгѣ, впервые видѣлъ эту красоту—и непереносима была мысль, что вѣроятнѣе всего—не увидѣть мнѣ этого великолѣпія вторично, не всмотрѣтся въ него, какъ слѣдуетъ.

Стемнѣло. Необъятный, шелковисто-синій пологъ, затканный золотомъ звѣздъ, куполообразно нависъ надъ землей.

Я смотрѣлъ то въ эту высь, то утыкался въ воду: „Куда я ѣду? Гдѣ и у кого найду на родинѣ пріютъ? Негдѣ преклонить свою голову, негдѣ и не на что дать отдыхъ измученной душѣ, недужному тѣлу. Глупая, старенькая, но милая-милая избенка: можетъ быть, тебя новые владѣльцы уже снесли"?

Поздно. Всѣ пассажиры парохода спятъ—одинъ я все на той же кормѣ, на грудѣ канатовъ.

Все тѣло болитъ и не могу представить, какъ лечь спать,

не имѣя даже, какъ мужички, котомки подъ голову, на голыхъ нарахъ IV класса.

Бѣдная моя квартирная хозяйка: къ вечеру ждала и вѣроятно всю ночь прождетъ своего жильца съ деньгами!

Раза два на корму навертывался матросъ и подозрительно на меня посматривалъ.

Онъ, кажется мнѣ, въ своихъ подозрѣніяхъ не ошибался.

Воды Волги тихо, съ мягкимъ шелестомъ бились о бортъ парохода. Долго я боролся съ силой притяженія этой темной глади: покоя загадочной глубины водъ просило мое жалкое, забитое недугомъ, тѣло, но протестовала душа своей неутолимой тоской по красотѣ земли, протестовала и говорила: А Горькій? Ты къ кому ѣхалъ—къ нему? Ну, неудача. Перетерпи, а тамъ, можетъ быть, и удастся встрѣча съ нимъ.

Подъ утро я уже рѣшилъ: до послѣдняго вздоха буду искать этого человѣка. Чтобы меня не ждало, а буду бороться за то, чтобы встрѣтится съ нимъ.

Это рѣшеніе дало мнѣ миръ, успокоеніе—я дремалъ, сидя на канатахъ.

Подремлю и очнусь. Пароходъ рвется впередъ и впередъ.

— Глупая машина, рвется впередъ и не знаетъ, что нѣтъ въ мірѣ угла, гдѣ бы нелицемѣрно признавали за человѣкомъ его неотъемлемое право на жизнь. Вотъ я работалъ—высосалъ Капиталъ силу, здоровье и выбросилъ изъ сферы труда вонъ: не нуженъ! Вотъ я ищу права мыслить. Калѣка физически, я, какъ милостыни ищу того, чтобы мнѣ дали возможность отдать свои силы духовныя. Я ищу, и что встрѣчаю? Глупая машина!

А потомъ въ сонное сознаніе врывалось, какъ высшая радость: „а Горькій?!“ И хотѣлось кричать:

— Да, да, Горькій! Милый человѣкъ, живетъ и не знаетъ: какими мытарствами искупаютъ вѣру въ него. Милый человѣкъ!

И вѣрилось, что не напрасно я побывалъ въ Нижнемъ: думалось, что та горькая страничка, которую я вписалъ въ этомъ городѣ собственной кровью въ свою книгу жизни—вписана не напрасно.

Съ улыбкой я припоминалъ г. редакторовъ, Чирикова, адвоката—и страннымъ мнѣ казалось, что не нахожу въ себѣ къ нимъ даже непріязни.

А потомъ я пришелъ къ заключенію:

— Недостойно человѣка расточать свой гнѣвъ по мелочамъ. Нѣтъ! Отъ мелочей мы себя еще побережемъ!

Кое какъ я добрался до родины. Пріютили меня одни добрыя знакомые. Прожилъ я у нихъ около двухъ мѣсяцевъ. За это время, благодаря чиновнику при губернаторѣ (Ѳ. Ѳ. Сомову) я получилъ изъ Нижняго, оставленныя у хозяйки, всѣ свои вещи: я ему послалъ деньги—и человѣкъ, видѣвшій меня только разъ, не отказался возиться съ расплатой за комнату, съ отправкой вещей.

А потомъ... потомъ я опять прочелъ въ газетахъ: „Горькій пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ пробудетъ продолжительное время“. Прочелъ и боялся: а вдругъ опять утка? И мучили опасенія: а вдругъ и въ самомъ дѣлѣ пріѣхалъ—поживетъ и уѣдетъ? А тогда ждать новаго случая Богъ знаетъ сколько?

И не выдержалъ. Достали мнѣ добрые люди денегъ на дорогу—я помчался въ Петербургъ.

Это было въ октябрѣ 1904 года.

(Продолженіе въ слѣдующемъ выпускѣ).